

КАРЛ ШТУМПФ

## Самоизложение

[205]<sup>1</sup> Мы пренебрегаем конструкцией, любим исследование, относимся скептически к сложному механизму системы ... Мы довольны, если к концу жизни нам удастся пробыть ходы научного исследования, ведущие в глубь вещей; мы согласны умереть в странствии.

*В. Дильтей (1865).*

**К** последующему «самоизложению», значительный объем которого я прошу извинить моим долгим служением науке, я приступил, после первоначального промедления, в тот момент, когда заметил, как сложно стало в разных случаях даже моим коллегам и ученикам отыскать общую нить и корни моего весьма разветвленного научного творчества. Надеюсь, теперь это станет легче сделать после приведенных ниже сведений.

### I. ИЗ БИОГРАФИИ

Я родился в страстную пятницу 21 апреля 1848 года в селе Визентайд, что в Нижней Франконии, и был крещен в пасхальное воскресенье по католическому обряду. Мои родители — врач земельного суда Евгений Штумпф и Мария Штумпф (урожд. Адельман). У меня было три брата, и есть еще три сестры, которые стали верными спутниками моей жизни, испытанными в радости и горе. Родители, посвятившие всю свою жизнь детям, еще пережили мое назначение в Мюнхен. Мой дед Андреас Себастьян Штумпф, умерший задолго до моего рождения, был известным баварским историком, членом многих академий. Оба брата моего отца тоже занимались наукой в сфере статистических и биографических исследований, а также в области лесного хозяйства. Мой дед Адельман, 1770 года рождения, работавший судебным врачом в Герольцхофене, изучал французскую литературу 18 века, а также Канта и Шеллинга, раз-

<sup>1</sup> Вставки в квадратных скобках (здесь и далее) являются вставками переводчика. Приводимая в квадратных скобках пагинация соответствует изданию: Carl Stumpf // *Die Philosophie der Gegenwart in Selbstdarstellungen*. (Dr. R. Schmidt - Hrsrg.). Leipzig: Felix Meiner Verlag, 1924. S.: 205 265. (*прим. перев.*)

личные сочинения которых, снабженные выписками и [206] пометками, стояли в его библиотеке. В годы своей отставки он жил в нашем доме, научил меня основам латыни и следил за моим развитием почти до университета.

Среди Адельманов, переселившихся из Ольденбурга в Фульду и Вюрцбург, было поразительно много врачей. Пятерых из них, а трое среди них были университетскими профессорами в Дерпте, Лёвене и Вюрцбурге, я знал еще лично, а остальных четверых — только по имени. Так что очень может быть, что любовь к медицине сидит у меня в крови. Оба моих родителя были музыкальными людьми, отец превосходно пел, а мать хорошо играла на фортепиано. От них ко мне перешла любовь к музыке.

После учебы в латинской школе в Китцингене, я посещал в 1859—1863 годах гимназию в Бамберге, а в течение последующих двух лет — гимназию в Ашаффенбурге, куда мой отец был перемещен по службе. Этот прелестный городок стал нашей второй родиной.

Будучи по своей телесной конституции слабым и худосочным, а по образу мыслей бойким и честолюбивым, хотя одновременно набожным и педантично-добросовестным ребенком, я внутренне развивался быстрее, чем это могло быть полезным для моих нервов. Но первые десять лет жизни мне суждено было провести в деревне, где не только большой сад, но и домашнее хозяйство побуждали к телесной активности. Занятия гимнастикой, плаванием и в особенности пешеходные прогулки с моими братьями и сестрами по прекрасной Франконии, а позднее из Ашаффенбурга по Рейнской области и немецкому среднегорью, а потом еще и в разных направлениях по Тиролю и Швейцарии, укрепляли мое здоровье. Прогулки и восхождения в горы в приятном сообществе казались мне одной из самых ценных целей в жизни человека (это ведь и душу делает свободнее и шире), тогда как учебное полугодие представлялось только чистилищем для неба каникул. Похожее настроение могло быть и у многих других молодых людей из Южной Германии. Это увлечение осталось у меня до преклонного возраста и наверняка способствовало его достижению.

Сам гимназический период сохранился в моей памяти не лучшим образом. Я довольно быстро продвигался вперед, хотя и не без усилий, ибо оказался в гимназии годом раньше положенного срока и не располагал еще хорошей памятью в области истории и географии. Из учителей я с благодарностью могу вспомнить только двоих, в особенности, престарелого Хохедера в Ашаффенбурге, который, будучи наставником старшего класса, был, помимо прочего, страстным астрономом, [207] и впервые привил мне благодаря чтению Федона любовь к философии и к божественному Платону. В сущности, после этого я на всю жизнь остался платоником. В целом же мое школьное обучение меньше всего можно назвать восхитительным; в техническом отношении оно тоже было недостаточным, особенно жалким было преподавание математики в Ашаффенбурге. И хотя к математике у меня особой склонности не было, все же при умелом ее преподавании в школе я бы, вероятно, дальше продвинулся в ее изучении.

Напротив, во франконских школах более высокого уровня имелась отличная возможность получить музыкальное образование. Уже в Китцингене при пении с требников я познакомился со старыми нотами на системе чет-

веростиший и вскоре мог петь с листа в каких угодно ключах. В Бамберге у нас был полный оркестр, который в незанятом актовом зале регулярно проводил репетиции под руководством превосходного музыкального директора Дитцена. Там можно было бесплатно обучаться игре на любом инструменте. На скрипке я начал играть уже с 7 лет и в годы учебы имел возможность неоднократно выступать с публичными концертами. Наряду с этим я более или менее успешно играл еще на пяти инструментах, но без специального обучения. Поскольку в семейном ансамбле и квартетном пении на меня было возложено руководство, я привык, постоянно анализируя музыку, слушать и проследивать отдельные голоса. Впрочем, и независимо от этого я не могу понять, как в случае многоголосной музыки можно без этой способности вообще оценить красоту голосоведения, композицию в собственном смысле. И широко практикуемое, по соображениям экономии, переписывание нот тоже помогло мне (как и в свое время Руссо) ознакомиться с тайнами музыкального ремесла. С десяти лет я стал сочинять музыку (а именно, сразу же сам написал ораторию «Хождение в Эммаус» для трех мужских голосов), и в последние гимназические годы это стало моим главным увлечением, причем одновременно я изучал по учебникам Зильхера, Лобе и Готтфрида Вебера теорию гармонии и контрапункта. Из-под моего пера вышли струнные квартеты и многое другое; правда, при этом легкость вдохновения не всегда шла в ногу с тягостной рефлексией. Единственно оригинальным было скерцо, исполненное в 5/4 такта.

Таким образом, когда в 17-летнем возрасте я поступил в университет, моя страсть к музыке была гораздо большей, чем мое стремление к учености. Вначале я слушал в *Вюрцбурге* [208] — согласно действовавшим тогда в Баварии почтенным предписаниям — общий курс лекций, среди которых эстетика филолога Урлиха подвинула меня на изучение «Критики способности суждения» из библиотеки деда. Таким образом и Кант стал моим проводником в философию. Во втором семестре я выбрал в качестве предмета изучения юриспруденцию — не из-за склонности к ней, а чтобы иметь профессию, которая бы оставляла мне свободное время для занятия музыкой. Я прилежно слушал лекции об институциях и пандектах, о римской и германской истории права. Однако к концу этого семестра наступил резкий перелом в моих интересах вследствие габилитации *Франца Brentano*. В другом месте я уже описал то превращение, которое вызвали во мне личность, способ мышления и преподавания, сама манера поведения этого человека. Все померкло перед лицом великих задач философского и религиозного возрождения. До того момента строгое мышление, собственно говоря, не было мне свойственно, скорее, даже было мне неприятно. И вот только брентановская железная дисциплина впервые сделала для меня второй натурой потребность в логической ясности и последовательности. Однако душевная жизнь должна была отныне подчиняться только заповедям рассудка. Не то, чтобы она от этого зачахла; но она получила исключительную направленность на цели, которые единственно казались мне высшими. Я готов был пожертвовать всем мирским счастьем, чтобы только осуществить нравственно-религиозные идеи христианства в ближних моих и во мне самом. Такое расположение духа владело мною в течение четырех лет.

Но помимо брентановских лекций я слушал также курс лекций по естественным дисциплинам, согласно тому значению их для философии, которое Brentano признавал за ними как в содержательном, так и в методическом плане. Его габилитационный тезис о том, что истинный философский метод есть не что иное, как метод естествознания, был и остается для меня путеводной звездой. И чтобы познать это на практике, я стал работать в химической лаборатории, правда, с тем конечным результатом, что однажды по неосторожности учинил там небольшой пожар, который мог бы легко перекинуться на все здание, не появившись вовремя местный слуга. Признаться, ловкость рук и позднее не стала моей отличительной чертой.

5 сентября, следуя совету Brentano, я отправился в *Гёттинген* к *Лотце*, чтобы защитить там докторскую диссертацию. О том, как Лотце стал моим старшим другом, я тоже уже рассказывал в другом месте. Способ мышления этого человека оказал большее влияние на ход моих мыслей, чем того желал Brentano, хотя основные теоретико-познавательные [209] линии оставались у меня брентановскими. Помимо Лотце, я слушал лекции физиолога *Майснера* и физика *Вильгельма Вебера*. Этого последнего, наряду с Brentano и Лотце, я должен назвать ваятелем моего научного мышления. Это был скромный старик, читавший лекции в манере, которая вначале казалась неуклюжей, даже комичной. Однако посредством строжайшей работы мысли он придумал такую систему физики, которая лучше, чем любая лекция по логике, знакомила с сутью индуктивного мышления. Двухсеместровый курс его лекций я застенографировал почти дословно. С тех пор физика всегда казалась мне идеалом индуктивной науки. В курс дела опытной техники меня ввели уроки *Фридриха Кольфауша*. Сегодня такая подготовка считается, по крайней мере, для психологов, делом обычным; а в то время философ, посещавший учебные курсы по химии и физике, воспринимался как белая ворона.

Диссертацию я написал с особым вниманием к логической форме, и это смогло стать тем, что переубедило самого Лотце, который поначалу скептически относился к моей теме и пытался меня от нее отговорить. И в более поздних моих сочинениях можно встретить восходящую к Brentano (соответственно, к Аристотелю) процедуру, когда посредством полной дизъюнкции возможных взглядов и опровержения их всех вплоть до одной остающейся, подготавливается почва для прямого доказательства. При подготовке к экзамену на степень доктора я прочел, хотя и довольно бегло, все главные философские произведения, а к диссертации — всю платоновскую литературу. В стихию аристотелевской философии я был, разумеется, уже основательно введен благодаря произведениям Brentano и его устным наставлениям. Как сильно должны были мучить меня трудности учения об идеях, которые даже Аристотелю доставили столько хлопот и повторились потом *mutatis mutandis* в современном немецком идеализме, — об этом свидетельствует крик о помощи, содержащийся в моем первом тезисе для диспута: «*Ideae nomen e metaphysica expellendum esse censeo*». Вряд ли этот тезис мог понравиться Лотце. Из этого же умонастроения проистекал и вступительный вопрос моей несколько озорной работы вюрцбургского периода, посвященной психологии современности: «Мы всё еще идеалисты?».

После защиты диссертации, в августе 1868 года, я возвратился в *Вюрцбург*, чтобы продолжить занятия философией у Брентано, но одновременно и начать изучение теологии. Осенью 1869 года я записался в вюрцбургскую духовную семинарию, где я вплоть до деталей ознакомился с [210] церковными литургическими обрядами, с аскетическими предписаниями, которым я строжайше следовал, и с духовными упражнениями. Лекции по теологии не были наслаждением, за исключением задушевного старого экзегета Шегга, который сам посетил святую землю и мог наглядно ее описать. Наряду с этим я прилежно изучал Фому Аквинского и других схоластов, а ради Библии — еще и древнееврейский язык. Тот факт, что из этого языка я теперь знаю лишь первые буквы его алфавита, есть выразительный пример того, как действуют на нашу память неиспользованные знания.

В стенах семинарии, в начале 1870 года со мной произошло второе, теперь уже окончательное превращение, причем опять под влиянием Брентано. Все здание христианско-католического вероучения распалось у меня на глазах. Испытывая страшные душевные муки, я должен был снова отказаться от избранного идеала жизни. В июле я сбросил с себя черное одеяние. Поскольку в сан священника я еще не был рукоположен, то у меня не возникло никаких принципиальных трудностей для моей дальнейшей судьбы. Однако я должен был вначале суметь вернуться к миру, так что многие благоприятные и неблагоприятные последствия этого года еще долго давали о себе знать в моей жизни.

Вскоре после этого у меня созрело решение пройти габилитацию по философии в Гёттингене. На сообщение и утверждение моего поступления на философский семинар, Лотце ответил мне 1 декабря 1869 года письмом, рассуждения из которого, касающиеся его собственных религиозных воззрений, я включил в посвященную ему статью, но их заключительную часть хочу привести и здесь:

«Коснусь напоследок самых трудных по содержанию моментов. Состоянием протестантской церкви и теологии я не очень доволен, и я мирюсь с Вашими упреками, хотя и не одобряю их всецело. Я полагаю, что Вы и сами сегодня не довольны всем, что обнаруживает Ваша церковь (к примеру, догмат о непогрешимости). О самом принципе я, конечно, не могу с Вами спорить, так как я, как и Вы, считаю подходящим для этого только обоснование живой веры. Поэтому Ваше решение стать священником я могу лишь воспринять со всем почтением к Вашему добросовестному убеждению. И хотя тем самым не сбывается уже ставшая мне милой надежда, я все же слишком хорошо понимаю весь масштаб того благословения, которое могло бы учредить на этом посту Ваша духовная сила, чтобы пожелать хоть как-то отягчить своими несогласием Ваше твердое решение. Тем не менее, простите мне, кто так сердечно к Вам привязан, эту неотложную, несколько настоятельную просьбу: [211] не принимайте слишком быстро окончательного, бесповоротного решения в период ранней юности, которой Вы еще можете так счастливо наслаждаться! Все остальное я предоставляю Вашим знаниям и размышлениям, об одном только умоляю — не спешите!»

Эти слова, излучающие бережное отношение Лотце к любой индивидуальности, как и его личное ко мне расположение (он даже хотел навестить

меня во время каникул в Ашаффенбурге или Вюрцбурге), я сохранил в моем сердце как сокровище, но только теперь я вполне понимаю, насколько он был прав в своем «несколько настоятельном» предостережении. На сообщение об изменении образа моих мыслей он ответил в том же смысле (22.VII.70), а именно, что он посчитал бы неделикатным помогать мне во внутренней борьбе с воззрениями, вышедшими первоначально совсем из других позиций, и что я уж как-нибудь сам доведу эту борьбу до конца. «У меня есть только одно сомнение, которое я хочу здесь высказать: жизнь долга и Вам, как человеку, пользующемуся ее наибольшей благосклонностью, надемся, тоже суждено прожить долго. И так уж теперь необходимо, чтобы немедленно были разрешены все Ваши сомнения относительно высших вопросов жизни? Возможно, Вы все-таки слишком мучаете себя, беспрестанно размышляя над вещами, которые сейчас, когда вы отклонили необходимость принятия обязывающего Вас решения, можно было бы на время отложить в сторону. Позднее Ваша восстановленная и посвежевшая душа позволит Вам вновь обратиться к этим вопросам, но только с большим спокойствием, непринужденностью и предрасположением».

Мое решение было им одобрено. Я еще на каникулах подготовил трактат о математических аксиомах и прошел габилитацию в конце октября 1870 года в *Геттингене*. Однако это сочинение я не опубликовал, потому что неэвклидовы способы рассмотрения, в которые меня посвятил *Феликс Кляйн*, в конце концов, все же превосходили мои силы.

Переход от монастырского уединения в город муз, где в 18 столетии росли «философы для мира» и где еще сегодня, несмотря на войну, процветает общительность, был крайне стремительным и непосредственным. Но моей юности было даровано достаточно эластичности, чтобы скоро освоиться и в этой новой среде. Дом *Лотце* был для меня всегда открыт, как и дом *Баумана*, а также дом *Хенле*, у которого я проводил еженедельные музыкальные вечера, исполняя партию виолончели. В общении Хенле отличали приятнейший юмор и большая благосклонность по отношению к друзьям. Почти до самой его смерти (1885) я поддерживал с ним в письмах милую, легкую беседу. Его «Лекции по антропологии», как известно, богаты тонкими психологическими наблюдениями. В эти годы, помимо геттингенских знаменитостей, я еще познакомился в Лейпциге с обоими корифеями психофизики — с *Э. Г. Вебером* и *Фехнером*. С первым из них я познакомился у его брата Вильгельма Вебера, где он [212] показал мне круги ощущения на моем собственном теле, а со вторым — во время учебной поездки с Феликсом Кляйном. Я спорил с ним о трудностях, возникающих для атомистики в связи с единством сознания, трудностях, который он думал разрешить посредством аналогии с единством понятия. Потом мы оба служили ему в качестве испытуемых по вопросу золотого сечения. Эти личности настоящих исследователей оставили глубокий след в моей душе. Но в Геттингене тоже собралась большая и хорошая компания ученой молодежи. Помимо Кляйна, особенно близок мне был шотландец *Вильям Робертсон Смит*, который позднее, как либеральный исследователь Библии, должен был испытать тяжкие преследования у себя на родине. Кляйн, в котором уже тогда проявился организаторский зуд, основал вместе со мной «Эскимо» — объединение молодых естествоиспытателей для вы-

ступления с научными докладами и для дружеского общения. В этом объединении я должен был представлять философскую часть. Профессора в него не допускались. С несколько смягченными условиями приема клуб этот, насколько мне известно, продолжает существовать до сих пор.

Лекции я начал с древней философии, особо останавливаясь на Аристотеле, в философию которого я углубился на целый год. Моей первой значительной работой была критическая история понятия субстанции, над которым мне пришлось долго поломать голову, прежде чем я оставил его, взявшись (ближе к пасхе 1872 года) за психологический вопрос о происхождении представления о пространстве. В отношении между цветом и протяжением [Ausdehnung] я видел (и считаю так до сих пор) очевидный пример или аналогию того отношения, которое метафизик допускает между свойствами одной субстанции. Таким образом моя старая работа была связана с новой.

На этот раз работа пошла бойко. Книга вышла из печати уже осенью того же года. Она появилась как раз в тот особенно благоприятный для моей карьеры момент, когда в пяти университетах оказались вакантными должности заведующих философских кафедр. В Вене я был назван вторым по конкурсу, а в *Вюрцбурге*, где за меня похлопотали Brentano и Lotze, дело дошло до назначения на должность, так что осенью 1873 года я мог уже перебраться туда в качестве руководителя кафедры.

Это раннее обретение должности в крупном университете казалось мне, естественно, большой удачей, в особенности, принимая во внимание моих родителей. Однако оно имело и свою теневую сторону: к тому времени я еще не располагал ни достаточным жизненным опытом, ни полной научной зрелостью для такого ответственного поста. Поскольку Brentano [213] ушел в отставку, а пожилой баадерианец Гофман почти не собирал аудитории, мне пришлось практически одному представлять философию, и я, не без юношеского задора, вел все основные философские курсы, за исключением этики. Возникшее в связи с этим перенапряжение моих сил потом еще долго напоминало о себе.

В 1874 году во время поездки в Италию я познакомился с пожилым главой местной философии, замечательным графом Теренцием Мамиани, и с его учеником Луиджи Ферри, которые настойчиво расспрашивали меня о состоянии немецкой философии, а также с Бонателли и Барцелотти. В том же году я совершил экскурсию через Ла-Манш и смог между делом пополнить в Британском музее мои знания английской философии, о которой мне уже успел кое-что поведать Смит в связи с моей книгой о пространстве. Подобно Brentano, у меня было определенное пристрастие к этому ясному и последовательному, хотя и не всегда глубокому, философствованию, а также к четкому установлению противоположностей, как они, в особенности, классически изображены в книге *Милля* о Гамльтоне. Только вот конструктивный тип мышления Герберта Спенсера так и остался для меня неудобоваримым.

В качестве предмета научной работы я выбрал вначале историю ассоциативной психологии, которая была связана с только что упомянутыми исследованиями, однако потом оставил ее так же, как до того понятие субстанции. Вместо этого я решил взяться за разработку области, которая в качестве связи моих музыкальных опытов и исследований с интересами психологии каза-

лась мне наиболее плодотворной для моей индивидуальности. Где-то в году 1875 я стал работать над «Психологией звука».<sup>2</sup> Благодаря любезности моего бывшего геттингенского учителя Кольрауша, в мое неограниченное пользование была предоставлена превосходная акустическая коллекция физического института. Кроме того, я частенько уезжал на несколько дней в Ханау, к изготовителю органов Аппуну, который работал для Гельмгольца, и наперерыв занимался с ним наблюдением. Я вполне осознавал, что такое углубление во все детали чувственной сферы, несмотря на славный пример Фехнера, все же сильно противоречило распространенным представлениям о задаче философа. Я сравнивал, к примеру, то безотрадное состояние, которое обнаруживала на пересечении дисциплин новейшая философия, с характером развития физики. И я видел, какая огромная пропасть отделяет физическое знание от этих неизбывных философских систем, возникающих без всякого соприкосновения друг с другом и озабоченных лишь собственной оригинальностью, хотя бы только терминологической, но лишенных при этом настоящей [214] убедительности. Неужели нельзя, хотя бы только в какой-нибудь особой области, философу как специалисту работать совместно с другими специалистами? И если это случится в иных сферах других наук, не возникнет ли тогда, в конце концов, все ж таки взаимно плодотворное уравнивание философии и специальных дисциплин?

Таким образом, время, проведенное в Вюрцбурге, стало для меня началом того направления в работе, которому я по убеждению остался верен до сегодняшнего дня, но из-за которого, правда, я сделался аутсайдером по отношению ко многим моим философским коллегам. Практика наблюдения и эксперимента даже больше занимала мое время и силы, чем это свойственно большинству самих экспериментальных психологов. И хотя я высоко ценю слова Аристотеля о том, что теория есть самое сладостное занятие, все же я должен признать, что для меня всегда было успокоением или чем-то вроде отрады переходить от теории снова к наблюдению, от размышления — к фактам, а от письменного стола — в лабораторию. Правда, из-за этого, в конце концов, мой рабочий стол тоже оказался в убытке и не произвел ни одного учебника или компендиума, что он все-таки должен был сделать уже в период приват-доцентуры. Впрочем, я даже отдаленно не думал о том, чтобы потратить столь много моего жизненного времени на акустические и музыкально-психологические исследования. Я рассчитывал всего на несколько лет. И хотя вышло иначе, хозяйкой дома для меня все же всегда оставалась не музыкальная наука, а философия, которая, правда, предоставляла своей помощнице достаточно много «свободного выхода».

В веселом франконском городе люди, разумеется, жили не только одной работой. У меня был там обширный круг друзей и достаточно шалостей, рас-

<sup>2</sup> В своей «Классификации наук» Штумпф называет выражение *Tonpsychologie* «неудачной аббревиатурой», которую нельзя понимать как «психологию звуков» [*Psychologie der Töne*], поскольку, по его мнению, такой психологии не может быть в принципе, а возможна лишь «психология звуковых восприятий, звуковых суждений, звуковых ощущений». См.: C. Stumpf. *Zur Einteilung der Wissenschaften*. Berlin: Verlag der Königl. Akademie der Wissenschaften, 1907. S. 30. Мы все же (для краткости) переводим здесь и далее выражение «*Tonpsychologie*» как «психология звука», с учетом разъяснительных дефиниций К. Штумпфа.

сказывать о которых здесь не самое подходящее место. Среди моих старших коллег наиболее близкими моими друзьями были *Кольрауш* и *Вислиценус*, а среди молодых — *Эрих Шмидт*, посещавший мои лекции по метафизике, а также жизнерадостный археолог *Флаш* и романист *Малль*. Последний был родом из Пфальца и успел надыхаться берлинским воздухом мятежных 60-ых годов, — своеобразный мефистофелевско-мерковский тип, оказавший определенное влияние на мой отход от абсолютного брентановского оптимизма. Но по истечении пяти лет я изрядно пресытился своим холостяцким хозяйством, и мне стало ясно, что одно увлечение из геттингенского периода моей жизни пустило более глубокие, [215] чем мне до этого хотелось думать, корни в моем сердце. Нас свела с ней музыка, чудесное большое бетховенское си бемоль мажорное трио. К тому времени фрейлейн Гермине Бидерман получила место в Берлинской Высшей Школе. Она приняла мое предложение, и мы заключили с ней союз на всю жизнь. Так большое си бемоль мажорное трио стало нашим семейным трио.

В 1879 году я получил приглашение занять место Фольксмана в *Праге*. На тамошний факультет прежде всего имел виды Отто Либман, однако Брентано, который с 1874 года преподавал в Вене, без моего ведома выступил в министерстве в поддержку моей кандидатуры, чтобы еще больше укрепить в Австрии позиции нашего направления. В этих обстоятельствах я немного поразмыслил, но, в конце концов, принял предложение. Я сделал это отчасти потому, что необычный романтический город на Влтаве возбуждал мою врожденную страсть к путешествиям, отчасти же (и главным образом) потому, что эффективность моей работы в Вюрцбурге в последние годы сильно ослабла по местным причинам. Философ, который не особенно склонен к популярным лекциям, может только тогда рассчитывать в Вюрцбурге на значительное число слушателей, если его лекции часто посещают студенты-теологи. Так оно еще и было в период моих первых семестров. Но поскольку я не делал секрета из моего свободного отношения к церкви, то теологи почти перестали приходить ко мне на лекции. Набожный протестант, каким был Кюльпе, оказался милее католическо-теологическим факультетам, чем такой падший католик, как я.

Так осенью 1879 года началась моя деятельность в Праге. Через год туда из Черновиц прибыл *Марти*, мой лучший друг по периоду обучения в Вюрцбурге. Для меня было крайне полезным общение и служебное взаимодействие с этим человеком, в равной мере выдающимся по своему остроумию и характеру, человеком, чьи исследования в области философии языка вели вглубь психологии мышления. Возможно, нельзя считать правильным, когда при назначении на должность исходят из того, что представители философии должны принадлежать по возможности разным, даже противоположным направлениям. В случае, когда само по себе направление не является излишне односторонним, гармоническое взаимодействие единомышленников значительно более способствует развитию и учеников, и учителей, чем в случае разницы направлений.

В Праге я должен был взяться за чтение большого курса по практической философии, каждой зимой предназначенного для юристов, хотя практической философией до этого я занимался мало. Я сразу же разработал курс в де-

тальной, систематической форме и в самых широких рамках, включая туда философию права и [216] государства. При этом я мог вернуться к некоторым темам из моего краткого юридического периода обучения, однако особенно пленили меня уголовно-правовые проблемы. Лекции по практической философии и по теории волевых действий [Willenshandlungen] я неоднократно читал и позднее, а последний раз — в Берлине в 1896 году.

Трудности моей первой пражской зимы в соединении с тяжелыми семейными переживаниями и негигиеническим состоянием города привели к сильному потрясению моего здоровья. Но все же я смог в следующем году продолжить мои исследования по психологии звука, для которых, правда, у меня почти полностью отсутствовали приборы. К начатым уже в Вюрцбурге исследованиям абсолютно немзыкальных людей прибавилось теперь изучение античных и средневековых теорий музыки, а также этнографической музыкальной литературы, каковая тогда имелась. В 1883 году смог выйти в свет первый том «Психологии звука», который вопреки долгой подготовке был, как и книга о пространстве, окончательно завершен только в ходе печатания, что можно еще заметить по форме книги.

В научном плане среди коллег мне были наиболее близки, помимо Марти, Мах и Геринг. С Махом, при всем моем глубоком к нему уважении, у нас не сложилось более тесных личных отношений, тогда как с Герингом меня всю жизнь связывала личная дружба. Оба они были одновременно главой немецкой общины университета. Я только в тамошней борьбе за интересы нашей национальности, борьбе, значительно усилившейся при министерстве Тааффе, сам стал хорошим немцем и научился глубоко уважать наших чешских соотечественников как закаленную вековой борьбой, серьезную и трудолюбивую ветвь нашего народа. Большой радостью стал для меня визит в 1882 году Вильяма Джеймса, у которого нашла отклик моя книга о пространстве, и с которым у меня быстро завязались дружественные отношения. Позднее мы опять встречались с ним в Мюнхене, и долгое время состояли в переписке, хотя я и не смог разделить его обращение к прагматизму. В опубликованных его сыном письмах особенно раскрывается живой и сердечный склад мыслей этого одухотворенного человека.

Летом 1884 года я получил приглашение из Галле: занять там место Ульрици, на стороне Хайма и Й. Э. Эрдмана. Тоска по немецкому отечеству стала столь ощутимой, что [217] я с радостью последовал этому предложению. В Галле был философски весьма интересен Г. Кантор, а с 1886 года я в научном и личном плане сблизился с Гуссерлем, который по рекомендации Брентано был там вначале моим студентом, а потом доцентом. В этом тихом городе мою работу могло сдерживать разве что только оживленное общение, которое я всегда переносил плохо, однако мне все же удалось хорошо продвинуться со вторым томом «Психологии звука». То, что решающие опыты по слиянию звуков должны были осуществляться на соборном органе, а не в психологическом институте, само по себе не было недостатком, ибо ничто не дает столь богатого собрания постоянных источников всевозможных оттенков звука, как хороший орган. В остальном, конечно, недостаток аппаратуры и здесь был довольно ощутим. Однако с другой стороны, в Галле я смог впервые провести прямые музыкальные исследования на материале прими-

тивных народов, а именно, на примере индейцев белла-кула, а также других племен, которые благодаря усердным стараниям Альфреда Кирхгоффа почтили город своим посещением.

В 1889 году мне пришло приглашение из *Мюнхена* — стать преемником Прантля. И снова я не стал долго раздумывать над возможностью оказаться на своей малой родине и даже в милом мне Мюнхене, и переехал туда осенью того же года. Католическая философия была там представлена *фон Хертлингом*, тоже учеником Brentano. Он был лояльным ко мне коллегой, однако из-за разницы во взглядах более близких отношений у нас с ним не сложилось. Наиболее тесные отношения были у меня в Мюнхене с филологом *Рудольфом Шоллем* (к сожалению, рано умершем), обладавшим тонким художественным вкусом. Для экспериментальной психологии и особенно для моих акустических изысканий я смог теперь постепенно соорудить из средств факультета маленькую коллекцию научной аппаратуры. Располагалась она отчасти в шкафу в университетском коридоре, из которого я доставлял в лекционный зал инструменты для воскресных наблюдений и экспериментов, отчасти же на верхнем этаже высокой башни, которая до сих пор еще стоит среди задних корпусов университета. Слуга физического института приобрел по дешевке на ярмарке в Ауэ рояль с камертонным звучанием, который вполне мог относиться еще к эпохе Хладни, разобрал его и продал мне старые камертоны, «непрерывный звуковой ряд», при помощи которого я смог сделать много наблюдений для второго тома «Психологии звука». Так вот раньше надо было устраиваться.

В Мюнхене, став членом академии, я открыл цикл моих академических статей — в некотором смысле [218] случайных работ, поскольку в выборе тем нужно было считаться с узкими рамками, в которые философские проблемы в целом позволяют заключать себя не так легко, как естественнонаучные, исторические или филологические вопросы. От докладов, прочитанных позднее в Берлине, осталось много рукописей, однако в свою библиографию я все же включил обычные для них краткие обзоры содержания, содержащиеся в отчетах об академических заседаниях. Я сделал это из тех соображений, что данные обзоры могли бы, по крайней мере, обозначить для тех, кому это интересно, мои взгляды на соответствующие предметы.

Острая критика одной работы из Лейпцигского института втянула меня в дискуссию с *Вундтом*, которая с его стороны была нашпигована грубейшими оскорблениями. То, что по существу вопроса я был прав, вытекало из того, что на данные статьи, якобы опровергающие фехнеровский закон, насколько мне известно, никто и нигде, кроме учебника самого Вундта, не ссылается. Я не смог удержаться, чтобы не высказаться и против позднейших акустических работ Лейпцигской школы, но надеюсь, что нигде не перешел при этом границ критики по существу дела. К способу работы самого Вундта я еще с гейдельбергского периода его творчества испытывал внутреннее отвращение, и со временем оно не исчезло, хотя я восхищаюсь чрезвычайной широтой его кругозора и плодотворностью его литературной продукции, сохранившейся вплоть до глубокой старости.

Я не думал уже покидать Мюнхен, однако спустя пять лет, как это было в Праге и Галле, ко мне подкралось новое искушение. Альтхофф передал мне

приглашение в *Берлин*, где оказалась без заведования экспериментальная психология, после того, как Целлер ушел в отставку, а Дильтей принял на себя представительство исторического направления. Но сколь бы ни было почетным это приглашение, особой симпатии к Берлину у меня к тому времени не было, к тому же я опасался, что не смогу планомерно завершить в Берлине мои главные научные труды, поэтому я отверг данное приглашение. Однако спустя несколько недель я стал осознавать, что на длительную перспективу Мюнхен все же не станет подходящей почвой для моих планов. Реализовать идею Психологического института оказалось невозможным. Я попросил министра, который в целом шел мне навстречу, ассигновать для экспериментальной психологии 500 марок ежегодно. Он ответил, что хотя сумма эта вполне реальная, он все же должен утвердить ее [219] в ландтаге, а там его могут обвинить в поддержке материализма. Впрочем, вскоре после этого Липс получил там семинар, а позднее Кюльпе – большой институт. Истинный мотив поведения министра состоял, по всей видимости, совсем в ином – в моих решительных протестах против определенных, разделяемых и двором, клерикальных планов относительно академии.

Так на пасху 1894 года я переехал в Берлин, и сейчас, спустя 30 лет, могу оценить это решение только как правильное. Правда, мое опасение, что я не смогу завершить в Берлине «Психологию звука» и другие задуманные мной большие сочинения, к сожалению, оказалось обоснованным. Однако психологический семинар из маленького зародыша в виде трех темных комнат в заднем коридоре университета вырос до большого института; в Берлине мне открылась возможность многосторонней, часто слишком односторонней деятельности в любом интересном для меня направлении. Меня увлек берлинский *genius loci*, этот все проникающий дух труда. Импульсов было предостаточно, и не было ни одного, даже самого далекого для меня вопроса, относительно которого нельзя было бы посоветоваться у специалиста. Сверх того, Берлин был в музыкальном отношении первым городом мира, а такой представитель благороднейшей художественной практики, как *Йоахим*, с которым я подружился еще до приезда в Берлин, был тогда еще в полном расцвете сил. Я не буду здесь подробно перечислять всех значительных людей, с которыми я за этот долгий берлинский период сблизился по службе или в личном общении, в том числе и как с друзьями. Но следует все же особо отметить тот факт, что я, по меньшей мере, семестр мог лично общаться с *Гельмгольцем*, а с *Моммзенем* – целое десятилетие; что с *Дильтеем* и *Паульсеном*, а также с их последователями, я находился в самом добром согласии, а с *Эрихом Шмидтом* и *Кольфраушем* мог возобновить старые дружеские отношения. Вопреки большой отдаленности, личное общение среди берлинских коллег поддерживалось, помимо общественной жизни, еще и еженедельными факультетскими и академическими заседаниями, и я всегда считал и в этом отношении просто счастьем, что большой философский факультет, несмотря на тяжелый груз его дел, оставался неделимым. При всех точках соприкосновения психологии с современной мыслью и жизнью я, правда, должен был на опыте убедиться, что мировой город наряду с дельными людьми дает приют и немало числу сомнительных карьеристов, которые под [220] предлогом научности или искусства, даже социальных уст-

ремлений, преследуют лишь торговые или тщеславные цели. Из-за этого у меня возникало немало неприятных трений, отнявших много времени.

Поскольку я опасался не просто отвлечения от собственных работ, но и опасностей крупного предприятия для такого столь юного исследовательского направления, то в соответствии с моим желанием организация экспериментального оборудования и помещений начиналась с малого. Однако вскоре потребности студентов стали подталкивать к расширению, которое теперь, естественно, оказалось труднее осуществить. В 1900 году из семинара образовался значительно расширенный институт, однако и после этого возникали все новые нужды, прошения, докладные записки. В 1920 году нам было передано 25 помещений бывшего кайзеровского дворца, управление которыми в условиях общей разрухи доставляло мне еще долгое время много забот, прежде чем я смог передать его в молодые руки. Из основного института со временем образовались четыре дочерних института, которые служили медицинским, музыковедческим и военным целям и управлялись моими учениками. В развитии этих учреждений гораздо в большей степени, чем я сам, участвовали вначале д-р *Фр. Шуман*, а позднее — знаток и любитель научной аппаратуры д-р *Рунн*.<sup>3</sup> Они руководили также экспериментальными семинарами, тогда как я заботился о теоретических занятиях, в которых психологические проблемы проговаривались со ссылкой на новейшие сочинения, и наряду с требованиями психологического наблюдения убедительно внушались требования логического мышления в духе Брентано. Этим занятиям я тем более придавал значение, что не усматривал в эксперименте, по крайней мере, во внешнем эксперименте, панацею психологии. Особенно долгое время мы занимались теорией воли и юридическо-психологическими вопросами, в обсуждении которых приняли участие такие, ставшие впоследствии известными специалисты, как Канторович и Радбрух. Эта в высшей степени плодотворная область должна, по моему мнению, еще в гораздо большей мере разрабатываться психологами. Учение о воле составляло тогда и предмет многих академических докладов, к публикации которых я, однако, уже больше не обращался. [221]

Мои акустические работы, при выполнении которых в Берлине мне уже в первые годы помогали *Абрахам, Шефер, Макс Мейер, Пфунгст*, позднее *ф. Хорнбостель, ф. Аллеш* и многие другие, имели поначалу чисто физический характер и были, соответственно, опубликованы в «Анналах физики». Посредством проверки источников звука на обертоны и получения при помощи процедуры интерференции полностью простых тонов была заложена основа для дальнейших акустических работ института. Начиная с 1898 года, эти работы публиковались в моих «Вопросах ...», первый том которых, содержащий мою теорию консонанса, был задуман как третий том «Психологии звука», однако сейчас вышел особым изданием. Наши акустические устройства постепенно достигли большой точности, однако в целом выросли лишь из потребности исследования. Ни одно из них не служило чисто демонстрационным целям.

<sup>3</sup> Более подробную информацию о развитии института до 1910 года можно найти в «Истории Берлинского университета» Ленца, в 3-ем томе, а также в ежегодной хронике университета.

В 1896 году я должен был вместе с ф. Шренк-Нотцинг заниматься подготовкой Третьего Международного психологического конгресса в Мюнхене, а потом и руководить им. Число участников со всех концов света было огромным, и переписка потребовала значительной части моего времени. В качестве темы моего вступительного слова я выбрал центральный вопрос об отношении тела и души. Я особо старался не допустить того, чтобы на первом плане выступили явления гипнотизма и оккультизма, как это случилось на первых конгрессах. Пограничные дисциплины тоже были представлены такими ведущими исследователями, как Геринг, Флексинг, фон Лист, Пьер Жане, Рише, Форель, Флурнуа, Сиджвик. Имели место острые конфликты и, без сомнения, творческие импульсы. Тем не менее, с тех пор в Германии не состоялось больше ни одного международного психологического конгресса. Видимо, психологи сочли более полезным обсуждать спорные вопросы в домашнем кругу «Общества экспериментальной психологии», хотя в таких дискуссиях могли принимать участие и зарубежные коллеги.

В 1900 году я сделал фонографические записи гастролировавшей в Берлине труппы сиамцев и тем самым заложил основу архива фонограмм. Позднее этот архив был дооборудован *Абрахамом* при участии *ф. Хорнбостеля*, который управлял им потом в одиночку.

Одновременно *Р. ф. Лилиенкроном* была заново организована учрежденная Шпиттом и пришедшая в упадок после его смерти издательская серия «Памятники немецкого музыкального искусства». Я состоял там в комиссии с момента моего переезда [222] в Берлин и по настоянию Лилиенкрона и Альтхоффа принял заместительство при уже восьмидесятилетнем и глуховатом председателе, вплоть до его смерти в 1912 году. Дружба с почтенным ученым, аристократом в лучшем смысле слова, была крайне полезна для меня. Впрочем, я иногда вспоминал слова Моммзена о том, что в каждой комиссии должен заседать один человек, который ничего не смыслит в деле. Формальное руководство совещаниями я как близкий друг мог все-таки перенять с чистой совестью, получив при этом возможность желанным образом расширить мои знания о старых композиторах.

В том же году вместе со старшим преподавателем д-ром Кемзиесом я основал берлинское «Общество содействия детской психологии». Я надеялся тем самым привлечь учительство, в особенности преподавателей средних школ, а также медицинские круги и образованную часть родителей к активному участию в психологических исследованиях и наблюдениях детской психической жизни. Детская психология неоднократно оказывалась значимой уже в моей психологии звука, о своих детях я тоже прилежно делал дневниковые записи. Эти старания «Общества...», в котором среди медиков особо активное участие принимал замечательный детский врач Хойбнер, несколько лет развивались успешно. Этим были инициированы два моих позже опубликованных доклада, причем на один из них, посвященный своеобразному языковому развитию ребенка, было обращено внимание в научной литературе. Однако со временем обнаружилось, что учителя отвлекаются от деятельности общества из-за своей профессиональной загруженности, а отчасти, может быть, из-за недоверия к заподозренной в реформах психологии. Одновременно с этим на передний план настолько сильно выдвину-

лись как раз усилия прикладной психологии и школьных реформаторов, что для общества с его исключительно теоретической направленностью уже не оставалось больше места. К тому же и я в силу других моих обязанностей вынужден был оставить руководство обществом, так что оно, в конце концов, тихо почило во время войны.

Неоднократно занимался я и вундеркиндами. Так, невропатолог Плачек побудил меня в 1897 году к исследованию одного четырехлетнего мальчика с экстраординарными мнемоническими способностями, которые с его двухлетнего возраста демонстрировались в научных обществах разных стран, даже в берлинском «Паноптикуме». После моего подробного рассказа об этом случае в «Боссишен Цайтунг» удалось при содействии состоятельных меценатов нанять воспитательницу, которая провела мальчика через самые тяжелые годы его развития. В школе [223] его дар, разумеется, был утрачен, поскольку он ведь трудно был совместим с нормальным развитием. К настоящему моменту, к полному моему удовлетворению, из вундеркинда получился хороший старший преподаватель. В 1903 году на примере музыкального вундеркинда Пепито Арриолы (которого Рише уже представлял на Парижском конгрессе) я изучал признаки музыкального дарования. Из этого мальчика в американский период его жизни получился большой виртуоз игры на клавишных инструментах, хотя отнюдь не выдающийся композитор, на что мы с Артуром Никишем надеялись, наблюдая успехи этого ребенка. Аналогичным образом исследовал я и юного венгра Ньиредьхазя, о котором Ревес позднее написал целую книгу, а также многих других вундеркиндов.

Как раз с дидактико-педагогических приложений, граничащих с детской психологией и экспериментальным изучением памяти, и началась на заре этого столетия прикладная психология. В психологическом институте ей посвятил себя проф. *Рунн*, который заведует ныне соответствующим отделом. Но по отношению к моим научным интересам прикладная психология осталась вдалеке. Вместе с тем я поддерживал ее смелые начинания, при условии, если те не утрачивали в своем осуществлении необходимой осторожности.

В 1903 году, в связи с крюгеровскими исследованиями смешанных звуков, на которых он построил также новую теорию консонанса, я предпринял экспериментальное изучение этой области. Данным исследованием я занимался — с продолжительными перерывами — до 1909 года. Можно посчитать за чудо, что я так много сил и времени посвятил этой относительно небольшой и для меня далекой сфере явлений, которой я сам придавал скорее физиологическое, чем психологическое значение. Однако прочитавший мое сочинение признает, что здесь необходимо было решить принципиальные методические вопросы, к тому же всплыло и множество отдельных предметных вопросов, ответ на которые можно было найти с помощью подготовленных теперь способов действия. Однако и здесь имеет место типичная ситуация: знай я заранее, как долго продлится мое исследование, я наверняка не стал бы его начинать.

Но год 1903-ий принес мне еще одно отвлечение, на которое я, в интересах концентрации научной работы, пожалуй, не должен был бы обращать столько внимания. По инициативе двух берлинских исследователей в актовом зале нашего университета пражский инженер Червенка устроил демон-

страцию его — якобы крайне важного — фонографического открытия, куда было приглашено все высшее руководство и весь преподавательский состав университета. Речь шла об [224] обратном превращении в живой звук фотографически отснятых звуковых графиков. Мы вместе с представителями Граммофонного общества подозревали, что здесь, в августейшем собрании, был совершен наглый обман. Я написал вызывающе саркастическую статью, а потом еще одну, в соавторстве с физиологом Энгельманом. Расследование случая было нам крайне затруднено; но в конце концов нами было представлено доказательство, и о «великом открытии» уже никто больше не проронил ни слова. Этот случай имел, однако, и положительные последствия. Одним из них стала революция в «Международном музыкальном обществе» и перестройка его организации.

Вскоре после этого я был втянут в другую историю, имевшую прямое отношение к психологии: в так называемую аферу «умного Ганса». Сразу же после моего возвращения с кантовских торжеств 1904 года в Кенигсберге, ко мне после одной из лекций подошел министерский чиновник, с целью заинтересовать меня этим случаем, поскольку министерство по делам культов, в которое обратился господин *ф. Остен*, оказалось в затруднительном положении и не знало, как ему к этой истории относиться. То, что здесь (как и в тысяче других подобных случаев) речь все-таки не шла о заранее выдуманной легенде, явствовало из того факта, что известному африканисту *Шиллингу* лошадь отвечала так же, как и г-ну *ф. Остену*. И таковым же казалось исследование на месте. От меня не были скрыты те чрезвычайные трудности, которые с необходимостью были вызваны возбуждением города, и даже заграницы, каждодневными газетными сообщениями о диковинном случае, и которые возникли в связи с наплывом любопытных, странностью этого г-на *ф. Остена*, недоброжелательностью местных трактиров и т. д. Однако непреодолимая страсть к выяснению вопроса позволила мне и здесь завершить начатое. Мне, в конце концов, посчастливилось разобраться в этом вопросе, прежде всего, благодаря острому глазу и железному терпению моего юного коллеги *Пфунгста*. На этот раз все же были отмечены и некоторые интересные общие результаты. Сам того не желая, *ф. Остен* посредством эксперимента большого размаха подтвердил аристотелевское учение об отсутствии понятийного мышления у животных. Ведь если педагогически столь хорошо разработанный метод, как его этот бывший учитель математики с несказанным терпением применил к лошади, вел только к учету ее невольных рывков головой, то неуспех должен был, пожалуй, заключаться в задатках воспитанника. Правда, наше решение не стало общепризнанным. Потом была еще эльберфельдская лошадь и мангеймовский [225] пес, с которыми профессора зоологии и психиатрии даже вошли в переписку. Они до сих пор еще отстаивают в журналах по зоопсихологии реальность высших мыслительных способностей у животных. Однако у меня нет нужды дальше исследовать эти случаи. Позднее, благодаря фонду Самсона Академия наук оказалась в состоянии основать на Тенерифе станцию по изучению антропоидов, в которой по идее проф. Ротмана должны были систематически изучаться человекообразные обезьяны, которые непосредственно доставлялись туда из девственных лесов наших колоний. Тогда-то я и предложил для проведения этого ис-

следования кандидатуру др. *Кёлера*, и все знают, насколько успешным это исследование оказалось. Однако Кёлер обратился не к арифметическим способностям, биологически совершенно бесполезным, но к жизненно важным формам деятельности животных и добыл доказательство того, что его шимпанзе при использовании орудий и обходных путей значительно выходили за принятые до сих пор пределы, обнаруживая при этом в известном смысле «разумное» [einsichtiges] поведение. Конечно, «разумное» в смысле наглядной разумности, которая не предполагает, как счет, общие понятия.

В 1905 году я был приглашен Военно-медицинской Академией им. Кайзера Вильгельма (Пепиньер) прочитать краткие годовые курсы лекций по любому разделу философии. Я охотно воспользовался этой возможностью заинтересовать медицинскую молодежь философией и ее историей. Примерно в это же время ассистенты физиологического института вместе с ассистентами института психологии организовали при моем участии группу «Кора головного мозга», чтобы аналогично старой геттингенской группе «Эскимо» обсуждать общенаучные проблемы. Вскоре к ней примкнули и медики, к примеру, Хуго Липман, взявший на себя роль председательствующего. Эта группа сохранилась до сих пор, обнаружив свою плодотворность.

В 1907–1908 годах я возглавил ректорат университета. В речи по случаю вступления в должность я выразил свое понимание состояния и задач философии. Должность ректора дала мне прежде всего интересный опыт, к примеру, контакты с ведущими личностями всех научных кругов, представительство университета на научных конгрессах, 45-минутную аудиенцию у кайзера (во время обязательного представления нового ректора), во время которой, в основном, говорил он сам, держась удивительно открыто. Наряду с этим я испытал большое удовлетворение от повседневных забот об учебных и студенческих делах, но во втором полугодии я пережил и много неожиданных волнений в связи с борьбой против «Свободного [226] студенчества», которому я поначалу с особым пристрастием благоволил. Под этим «Свободным студенчеством» следовало понимать не всю совокупность незачисленных студентов (т. е. студентов, не являющихся членами корпорации), но относительно небольшую группу, которая, однако, возложила на себя представительство интересов всех незачисленных студентов, а также их культурные устремления. Причем это представительство интересов постоянно смешивалось с представительством самих незачисленных студентов, так что маленькая группа и, соответственно, ее самопровозглашенные лидеры — студенты 2-го или 3-го семестров — выставили требования, эквивалентные параллельному правительству. Так дело дошло до войны. Были проведены общие студенческие собрания, на которых такие леворадикальные политики, как Брейтшейд и фон Герлах, подливали масла в огонь. Раздавались голоса о «душители академической свободы», о «русском палочном хозяйстве». Я распустил свободное студенчество и на этом диссонансе завершил год. Сенат был всегда на моей стороне. В следующем семестре министерство разрешило студенческое объединение, но с новыми уставными правилами, предупреждавшими указанное смешение. В последующие годы был учрежден общий студенческий комитет, означавший действительное представительство студенчества, тогда как «Свободное студенчество» продолжило

свою в целом весьма похвальную работу. Вполне возможно, что слишком принципиальная с моей стороны позиция по отдельным вопросам, на которые я мог бы и не обращать внимания, обострила борьбу, которая, впрочем, к тому времени уже вспыхнула и в других местах (Марбург, Галле). Когда-нибудь это столкновение все равно должно было произойти. И выпав на мою долю, оно, при моей-то любви к студентам, сильно испортило в целом столь прекрасный период моего ректорства. В предостережениях моей второй вступительной речи («Об этическом скептицизме»), обращенной к студенчеству, горький привкус этих событий смешан с предчувствием стоявших перед нашим отечеством тяжких испытаний, которые уже тогда заявили о себе отчетливыми предзнаменованиями.

В 1909 году был учрежден Берлинский философский семинар, к основанию которого мы с *Рилем* стремились еще задолго до этого. Семинар был мастерски организован благодаря назначению Эрдмана. Номинально я входил в состав директоров, но мог участвовать только в качестве советника и только однажды — как руководитель семинара по аристотелевской метафизике. Я бы очень даже хотел и дальше практиковать в этой форме связь психологии и философии, но институт не дал мне на это разрешения. Впрочем, при случае [227] основу семинаров там тоже образовывали идеи Канта и Юма.

Летний семестр 1909 года был приятно прерван данным мне поручением — представлять университет на дарвиновских празднованиях в Кембридже. Я успел пережить триумф и поражение дарвинизма в его первоначальной форме, однако идея эволюции вошла мне, как и всем моим современникам, в плоть и кровь. К тому же личность Дарвина как исследователя настолько была объектом моего почитания, что я с готовностью принял поручение. Это мое уважение я выразил в торжественном послании, напечатанном в годовой хронике университета.

На юбилее университета в 1910 году я был избран почетным доктором медицинского факультета, и с благодарностью воспринял выраженное этим признанием моих усилий в установлении тесных связей между философией, психологией и медициной. Менее радостным было то, что в течение многих лет эти отношения я подтвердил уже в качестве пациента и испытуемого из-за трех жизненно опасных заболеваний уха с двумя трепанациями правой *os petrosum*, а дважды и как «*casus rarissimus*» офтальмологии. Все же ухо выдержало выпавшие на него суровые испытания *magna cum laude*: оно каждый раз вновь обретало полную остроту слуха, и я смог продолжить исследование гласных, начатое непосредственно перед последней операцией. А вот глаз, к сожалению, не смог выйти из ситуации без *sustinuit*.

В 1914 году, на 6-ом конгрессе экспериментальной психологии, я выступил с докладом, посвященным новейшим трудам по теории звука. При этом я высказал свое мнение по поводу принципиальных исследований гласных, проведенных *В. Кёлером* из Берлинского института и впервые представленных им на 4-ом конгрессе 1910 года. Это привело меня к мысли о необходимости более детального рассмотрения природы гласных и вообще фонем по сравнению с тем, как это было сделано в последних параграфах «Психологии звука». Экспериментальные результаты в том смысле сковывали меня, что я не мог

отступить от исследования, прежде чем мне казалась не до конца проясненной эта важная область феноменологии. Так как в первые годы войны институт опустел, я мог использовать тишину для крайнего напряжения силы слуха в процессе анализа. Правда, с другой стороны, возникли большие трудности и промедления при наладке и ремонте оборудования. И в [228] последующие военные годы институт был востребован молодыми научными силами в интересах военной психотехники (звукометрические устройства), естественно, что мои мирные труды должны были при этом отступить на второй план. По этой причине они были в основном завершены только в 1918 году.

Война во всех участвовавших в ней странах призвала экспериментальных психологов к содействию. Как представитель психологии в столице я имел дело с организацией этой работы во всем рейхе. Правда, такого систематического и обширного сотрудничества, как в Америке, у нас не получилось.

Однако в одном проекте, тоже вызванном войной, хотя самом по себе весьма мирном, мы превзошли границу. В 1915 году по инициативе старшего преподавателя Дёгена собралась большая группа филологов и я как музыковед для проведения фонографических записей. Речь шла о записи местных диалектов, песен и прочих музыкальных произведений военнопленных, которые хлынули к нам со всех концов света, часто даже из трудно доступных и мало исследованных мест. Министерство по делам культов назначило комиссию, которая привлекла сотрудников для специальных областей со всей Германии и произвела в 32 лагерях для военнопленных в техническом отношении превосходные записи. Сверх того, эта комиссия стремилась также собрать по возможности все данные, необходимые для научной проработки материала. Помимо граммофонных пластинок комиссии, Фонограммный архив в лице д-ра Шунемана организовал также многочисленные записи при помощи удобного эдисоновского аппарата. Руководство работами комиссии было поручено мне и заняло очень много времени, даже лекционного времени целого семестра. И все-таки для меня было ценным получить возможность лично наблюдать манеру исполнения и все поведение экзотических певцов, так как их наглядное представление все же существенно дополняет и оживляет впечатление от фонографических записей. После революции собрание граммофонных записей было изъято из рук комиссии без единого слова благодарности и передано государственной библиотеке, где, по моему мнению, никто в достаточной мере о них не заботился.

Наш старый, вырвавшийся в течение 20 лет Фонограммный архив, около десяти тысяч записей которого обладают неоценимым значением вследствие вымирания [229] первобытных народов и европеизации чужих частей света, оставался поначалу без государственного финансирования. Но после того как юристы министерства нашли, что право собственности, о котором мы до этого мало печалились, полагается мне и фон Хорнбостелю, мы подали архив государству, с тем условием, что оно будет заботиться о его сохранении и развитии. Это условие было государством принято, и в 1923 году наша коллекция была присоединена к Высшей музыкальной школе. К сожалению, из-за общего упадка, который прежде всего затрагивает далекие от повседневных интересов вещи, государство ныне не может вполне выполнять свои обязанности, так что мы и по сей день еще не свободны от этой заботы.

Более утешительным является то, что вопреки неблагоприятным временам, в 1922 году удалось основать в виде «Сборников сравнительного музыковедения» орган публикаций в этой сфере, и что также в Берлинском университете благодаря габилитации господ *Шунемана, Закса и ф. Хорнбостеля* об этом исследовательском направлении заботятся лучше, чем где бы то ни было.

На пасху 1921 года, вследствие нового законоположения о возрастном цензе, завершилась моя служебная деятельность в университете. Но читать лекции я прекратил только летом 1923 года. В Берлине, где различные ветви философии были представлены многочисленными доцентами, мои лекции более не распространялись на всю сферу философского знания, но в основном только на психологию, историю философии и логику. В последующие годы я также часто представлял в лекциях под общим заголовком «Мировоззренческие вопросы» нечто вроде системы философии. Лекции доставляли мне вплоть до последних лет много хлопот, ибо каждый раз приходилось по-новому выстраивать какую-нибудь наиболее неудовлетворительную часть курса. Для меня было важно давать общую картину соответствующего материала, прослеживать также историю философии вплоть до современности, но одновременно при этом объяснять исследовательские методы на примере более детально рассмотренных отдельных частей. Впрочем, страстным доцентом я не был; скорее наоборот, часто рассматривал обязательность лекций как обременительное осложнение моей научной работы, которую я считал своим главным делом и которая всегда ведь должна была намного глубже, чем лекции, погружаться в материал, а вследствие моего особого научного направления даже идти совсем другими путями. Я, к примеру, никогда не читал лекции о психологии звука или о музыковедческих [230] предметах. Однако я не отрицаю и тех исключительных преимуществ, которые возникают из связи преподавательской деятельности с исследованием, в особенности, именно благодаря связанному с преподаванием принуждению — никогда не упускать из виду целое.

Благодаря полученному еще в гимназические годы навыку стенографирования я неоднократно пользовался раньше письменными заметками в лекциях. Только в последние годы глаза принудили меня к полной независимости от письма, и я должен сказать, что «читать лекции» после этого, — именно потому, что это уже не было чтением, стало для меня гораздо более радостным предприятием, чем раньше. У меня также было чувство, что я тем самым обретаю более тесную и живую связь со слушателями. В целом, обычное стенографирование имеет тот недостаток, что привыкаешь мыслить записываемым и отучиваешься от импровизации. Однако, с другой стороны, преимущества его настолько значительны, особенно при собирании и выписывании материала, при подробном протоколировании наблюдений и опытов, что я в целом все же настоятельно рекомендую им пользоваться.

От участия в экзаменационной комиссии для старших преподавателей я освободился уже в году 1907, так как мне стала совсем неприятной и в плане времени очень затратной часто ужасная подготовка кандидатов, занятых своими основными предметами, а также обычное для Берлина ведение протокола на других, особенно, педагогических экзаменах. Большим бременем было для меня и участие в экзаменационной комиссии на получение доктор-

ской степени [Promotionsprüfung], потому что в Берлине каждый основной предмет философского факультета обязательно дополнялся философией как вторым предметом. Но тогда результаты в целом были все же более отрадными, чем сегодня. У меня, правда, был принцип – не привязывать экзаменуемого к какой-то одной теме, но зондировать его знания в разных местах, пока не дойдешь до основы. Нередко можно было видеть, что у кандидатов пробуждался истинный интерес к философии, а не одно только желание сдать экзамен.

В академические комиссии по изданию сочинений Канта и Лейбница я входил с момента их основания, а иногда и руководил ими (после смерти Дильтея, а потом и Эрдмана). Мне повезло, что на эти годы пришлось редакционная доработка переписки в трудном и затяжном издании сочинений Канта, а также реальное начало издания трудов Лейбница, ставшего возможным вопреки всем нашим ожиданиям. В предисловии к этому изданию я вспомнил восторженные слова *Бутфу*, бывшего руководителя французской комиссии по наследию Лейбница, которые образуют резкий контраст к нынешнему исключению Германии из международных научных проектов, и выразил надежду, что дух Лейбница однажды сможет вновь стать вездесущим. И мне не доставило при этом ни малейшего удовольствия, что в заключение я должен был упомянуть о моем маленьком родном Визентайде, где в графском Шёнборнском архиве были в большом количестве обнаружены относящиеся к Лейбницу документы.

Я не могу завершить данный автобиографический очерк, не упомянув о том, что в 1921 году я вышел из католической церкви. Хотя до этого момента я уже [231] в течение 50 лет был отчужден от католической веры, формально я все-таки не выходил из церкви, принимая во внимание ее плодотворную деятельность, да и не хотел обращаться в новую религию. Однако поведение исполняющего должность духовного лица во время похорон одного из моих братьев окончательно подвинуло меня к выходу из католицизма. Этот священник посчитал необходимым извиниться за то, что он стоит у данного гроба, ибо покойный, чьи высокие человеческие добродетели он потом все же не смог не похвалить, якобы не придерживался предписаний церкви. Будучи теперь уже «неверующим», я признаюсь всем своим сердцем в моей принадлежности к христианству как религии любви и милосердия, т. е. к тем принципам, которые нуждаются отнюдь не в переоценке, а, скорее, в повышении своей ценности. И я надеюсь, что под знаком этих принципов разделенные сейчас конфессии все же переживут когда-нибудь если не свое объединение, то, по крайней мере, свое столь необходимое в бурях современности сближение и примирение.

## II. ТРУДЫ И ВОЗЗРЕНИЯ

Следующая часть моего изложения преследует цель двоякого рода: с одной стороны, ввести читателя в понимание моих печатных работ в отношении их замыслов, методов и результатов, а с другой стороны – как бы пунктиром дополнить уже опубликованные мной сочинения. При этом я хотел бы сде-

лать это так, чтобы читателю вместо фрагментов моих воззрений все же предстала перед глазами их целостная картина. Если изображение в такой его форме производит впечатление весьма догматического (если не сказать поверхностного), то хорошо ведь известно, что вообще-то это не мой стиль изложения, и каждый может найти конкретные подтверждения этому в моих публикациях.

Здесь тоже подразумевается, что мои взгляды в широком смысле покоятся на полученных от *Брентано* импульсах. Но было бы в этой связи излишним обозначить все по отдельности точки соответствия и отклонения в наших воззрениях. В целом, следует подчеркнуть, что мое согласие с *Брентано* касается, скорее, ранней, нежели поздней формы его учения.

В книге *Ибервег-Эстеррейх*, а именно, в параграфах, посвященных *Гуссерлю*, можно прочесть, что исходным пунктом моего развития был *Брентано*, хотя сегодня, якобы, я обнаруживаю некоторое родство с взглядами *Гуссерля*. Это звучит так, будто гуссерлевские рассуждения стали в некоторых пунктах для меня определяющими. Но на самом деле это не так. Мои отклонения от *Брентано* стали [232] результатом вполне имманентного и постоянного идейного развития. Естественно, что между учениками *Брентано* имеется много родственных черт из-за общего исходного пункта, а в некоторых моментах и вследствие признанных в одинаковом направлении необходимыми изменений, дополнений и продолжений.

### **О дефиниции философии**

Как бы ни формулировалось различие духа и природы, каждый из нас как-то их различает. Но философ желает отыскать всеобщее. И таким вот образом оказывается философия в первую очередь самой общей наукой или метафизикой, по отношению к которой теория познания образует входные врата. Но то, что с древности философы чаще всего рассматривали и психологию в качестве своей сферы деятельности, имеет свое веское, объективное основание в том, что область психического принимает существенно большее участие, чем физическая область, в образовании основных метафизических понятий. Целесообразно поэтому определять философию как науку о наиболее общих законах психического и физического вообще (или наоборот). Только так можно еще оправдать включение логики, этики, эстетики, философии права, педагогики и других отраслей знания в круг философских наук. Связующим членом этого круга повсюду выступает в основном психология, для которой, конечно, отсюда вытекает и обязанность: в своих небольших экспериментальных трудах она не должна забывать о высших чертах душевной жизни, не исследуемых экспериментом, а также о великих общих вопросах философии.

### **Об истории философии.**

*Брентановская* схема четырех фаз, в которых до сих пор протекал каждый из трех периодов философии, начиная с *Фалеса*: восходящее развитие с преимущественно теоретическим интересом и эмпирическим методом, распад

из-за разрастания популярной философии жизни, за которым потом следовала скептическая и наконец мистическая реакция, — эта схема всегда казалась мне хорошим руководством для понимания философского развития, по крайней мере, в древности и в Новое время. В средневековье это развитие существенно модифицировалось из-за влияния церкви и веры в авторитет. Исторические подобию и аналогии — это не природные законы. И вообще нельзя, конечно, слепо прилагать схему ко всем деталям развития (иначе, например, как можно подогнать под нее софистику?). Не следует также понимать «распад» в том смысле, что в эти периоды развития были совершенно исключены гениальные, глубокие и богатые последствиями философские работы. [233] Наконец, нельзя забывать, что классификация возможна и по многим другим основаниям, хотя методические основания я считаю самыми важными.

К истории философии относился и мой философский первенец — работа о платоновской идее блага и о его понятии Бога. Эта работа стремилась ликвидировать противоречие, возникшее у *Целлера* между религиозным жизненным умонастроением самого Платона и его научной системой. Ликвидировать это противоречие я хотел посредством восстановления аристотелевского понимания идей как реально отличных от отдельных вещей сущностей, и одновременно — трактовки Бога как сущности, идентичной с идеей блага. Такая трактовка, совпадающая, впрочем, и с целлеровской, является сегодня общепризнанной, а вот о правильном понимании идей спор продолжается. Я до сих пор считаю точным именно реалистическое толкование, с которым согласны также *Гомперц*, *Виндельбанд*, *Апельт*, а все попытки его рассеяния — остроумными, но неисторическими. Правда, мое изображение платоновской философии было излишне настроено на ее заверченный в себе образ и недостаточно учитывало изменения, обусловленные процессом идейной эволюции Платона. В особенности, имеются в виду те новые моменты, которые возникли в поздних платоновских сочинениях и полное понимание которых стало ныне возможным благодаря филологическим методам.

Два трактата об античной музыкальной теории (1897), относящиеся к моим более поздним сочинениям, содержат много отдельных комментариев к фрагментам платоновских текстов, комментариев, имеющих отношение и к истории философии, однако они вряд ли были замечены моими коллегами.

Спустя два десятилетия я выбрал *Спинозу* в качестве предмета моей статьи, — не потому, что я испытывал особую симпатию к его философии, но из-за того, что намеревался высказать нечто принципиально новое об одном из главных ее пунктов — о параллелизме атрибутов. Полагаю, я показал в этой статье, что данное учение, как по своему изложению, так и обоснованию, есть результат древнего аристотелевского учения о параллелизме актов и содержаний сознания. Второе исследование рассматривает бесконечное число атрибутов и пытается на основе учения о параллелизме, по крайней мере, гипотетически конкретнее изложить и сделать понятными скудные намеки Спинозы на то, как ему, вопреки бесконечному многообразию объективно различных атрибутов, из которых состоит субстанция, удается удерживать их в единстве. Третья работа должна была относиться к [234] «геометрическому методу» и отыскать для первых теорем этики и для их до-

казательств, о которых Лейбниц не без основания вынес свой столь суровый приговор, те молчаливые предпосылки, из-за которых они для самого Спинозы стали формально принудительными. До сих пор Спинозу слишком много критиковали извне, тогда как наиболее ясное раскрытие крайнего Спинозовского реализма и одновременно его зависимости от схоластики, — эту задачу рекомендовали лишь друзьям логических исследований.

Методически образцовые результаты философии в период после Декарта я обнаруживаю не у Канта или Гегеля, но (вместе с Brentano) у Локка и Лейбница, к которым я еще добавляю Беркли. Даже если феноменологизм и полемика против общих понятий основаны у Беркли на недоразумениях, то ошибки такого рода встречаются ведь у многих великих мыслителей; однако по ясности и точности изложения, а также по энергии мысли Беркли стоит даже выше Локка, уступая ему только по многосторонности исследований. Однако никто не станет сегодня отрицать, что еще больше превзошел своих предшественников Лейбниц. А вот среди непосредственных предшественников кантовской критики больше всего и уже довольно рано привлекал мое внимание Тетенс, чьи «Философские опыты» очень правильно называют аналогом локковского эссе. В бытность мою в Галле я побудил Шлегендаля, а также Штёрринга, написать их работы о Тетенсе, а позднее и сам посвятил одно из своих исследований тетенсовской теории отношения (См.: Psychol. u. Erkenntnisth., Anhang 2). Возможно, ни в каком другом немецком философе до Лотце не был столь живительно активен дух непредвзятого и основательного исследования, как в Тетенсе.

Интеллектуальное и моральное величие Канта я усматриваю прежде всего в том, что он вновь со всей строгостью реализовал в философии идею необходимости и ее этическое дополнение, понятие долга. Однако Кант одной ногой стоит еще в гиперкритическом способе мышления Юма, а другой — уже в спекулятивно-догматическом мышлении последующего времени. Обе эти черты, но особенно вторую из них, а также связанную с ней страсть к философским конструкциям, я при всем желании не могу считать достойным подражания идеалом философствования. С Кантом и с критицизмом я полемизировал неоднократно, а с конструктивной философией — в моей работе «Возрождение философии». Но является ли наше восходящее движение в философии действительным и всеобщим, — это для меня, как и для позднего Brentano, тоже стало сомнительным. [235] Пестрое разнообразие философских подходов, ни один из которых не строится на другом, все еще не имеет настоящего сходства с упорядоченным прогрессом истинной науки. Даже в психологии раскол знания приобретает сомнительные формы, хотя здесь еще можно утешать себя гераклитовской мыслью о раздоре как отце всех вещей, ибо фактическая основа науки все же постоянно расширяется.

Скорее учебному докладу, чем историческому исследованию, служат «Таблицы по истории философии», в третьем издании которых принимал участие Менцлер. Они возникли в Мюнхене, когда во время прогулок по Английскому Саду я знакомил с историей философией принца Фридриха Карла из ландграфско-гессенской линии, который был также прилежным слушателем моих лекций по логике. Линейная схема, я полагаю, не очень понравил-

лась моим коллегам, но пусть они не забывают, что она рассчитана на новичков в философии.

### **О теории познания и логике.**

Обе эти дисциплины различаются тем, что на теорию познания приходится теоретическое начало, а на логику — практическое, наставления по проверке и нахождению научных выводов. Психология, рассматривающая *процессы* мышления и осознания [Erkennen] как таковые наряду с другими процессами, не составляет основу ни одной из вышеуказанных дисциплин, однако ни для одной из них не является излишней. На примере основных постановок вопросов у *Канта* я показал, каким образом повсюду мстит за себя пренебрежение психологией, но одновременно я осуждаю попытку психологизма, вывести критерии истинности из механизма психических функций.

1. *О происхождении основных понятий (категорий)*. Просто предполагать их как нечто априорное означает разрубать узел, а не распутывать клубок проблем. Необходимо ведь постоянно пытаться найти те первоначальные феномены, которые образуют основу их восприятия. Так, в отношении понятия вещи или субстанции можно указать на то, что в определенных созерцаниях мы можем непосредственно воспринимать внутреннее взаимопроникновение частей целого. Уже в каждом ощущении такие «атрибуты», как качество, интенсивность, величина образуют не сумму, а целое, более того, части являются лишь позднейшими абстракциями. В области психических функций интеллектуальные и эмоциональные функции и вообще все одновременно данные состояния сознания [236] самым тесным образом взаимосвязаны (единство сознания) и воспринимаются непосредственно в этом единстве. Принцип исследования Юма не был, поэтому, ложным, просто Юм не вполне тщательно провел наблюдение, иначе он должен был бы определить субстанцию не как пучок, а как *целое* свойств или состояний.

И при исследовании понятия причины Юм слишком рано остановился. Существуют ведь действительно такие случаи, которые позволяют воспринять не только последовательность, но и внутреннюю связь. Кто внимательно следит за ходом мысли, тот пребывает в некотором базисном настроении (интерес), которое является каузальным и осознается нами в качестве такового. Это настроение *обуславливает* удержание представлений и всего, что дальше с ними связано: их сравнение, сочетание и т. д. Дело не выглядит так, будто мы интересуемся чем-то, а *потом*, когда интерес уже пропал, возникают следствия, подобно тому, как в природе за причиной наступает следствие, но так, что имеется имманентная и перманентная, а потому наблюдаемая в себе причинность. В случае природных процессов речь, конечно, может идти только о переносе, а он, хотя и неизбежен, является совершенно бесполезным для естествоиспытателя, которого гораздо больше интересует исключительно строгая закономерность последовательности.

<sup>4</sup> В «аподиктических суждениях» традиционная логика смешивает четыре понятия, которые отнюдь не везде совпадают: необходимость, надежность, очевидность и точность (Брентано).

Понятие необходимости или закономерности [Gesetzlichkeit]<sup>4</sup> в ее полной строгости можно понять посредством наглядного представления содержания (положения дел [Sachverhalts]) а priori достоверных суждений, которыми являются логические аксиомы и все выводимые из одних только понятий положения.<sup>5</sup> Потом это понятие снова переносится на природу.

И понятие истины коренится, естественно, в сфере суждений. Истинно то, что является непосредственно или опосредствованно очевидным. Можно также сказать: истина (ложь) есть свойство содержания сознания, а именно, его способность из себя самого, посредством объективных мотивов, навязывать признание (отклонение). Все дело здесь в понятии очевидности, которое, пожалуй, можно назвать основным понятием [237] *Брентано*. То, что это понятие означает, нужно пережить как раз на примерах таких достоверных суждений, как  $2 (2 = 4)$ ; дальнейших редукций или дефиниций оно не допускает. Очевидность и истина суть коррелятивные понятия. Очевидность есть, так сказать, субъективная сторона истины, сама же она есть в некотором смысле нечто объективное, независимое от индивидуального акта сознания, есть функция того, что представляется, а не представляющего субъекта. Все позитивистские теории истины, а также прагматизм, вращаются в порочном круге. Экономия и полезность только в качестве максим мысли всегда остаются достойными внимания.

Действительность или реальность означает способность действовать. Поэтому в первую очередь нам действительно даны собственные душевные состояния. Ибо здесь мы, согласно вышеупомянутому, переживаем непосредственную каузальность. Если бы мы не были внутренне активны, то у нас не было бы сознания действительности. Во вторую очередь мы устанавливаем действительность внешних вещей (как физических, так и психических), в какой мере мы наблюдаем их воздействия на нас. Кто называет божество «самой реальной сущностью», тот мыслит ее именно как первопричину. Напротив, всеобщие законы являются хотя и истинными, но не действительными, потому что они не способны действовать.

2. *О путях познания.* Априорно, посредством чистого разума, познают закономерности из одних только понятий и само собой разумеющихся положений. Для этого совсем не нужны фактические констатации того, почему эти познания точнее всего выражаются в гипотетических предложениях. В делах математики, которая здесь прежде всего принимается в расчет, можно и сегодня еще удерживать ее априорную очевидность. Если имеется три геометрии сообразно принятой мере искривления пространства (соответственно, пространственным формообразованиям), тогда каждая из них априорна в себе самой, и лишь ее применимость к объективному пространству есть дело опыта.

Однако не только из математического, а просто из любого содержания представлений вытекают априорные познания, причем и такие, которые расширяют наше знание. Простое представление о двух тонах включает в себя их отношения по высоте, силе, хронологическому порядку, длитель-

<sup>5</sup> К аксиомам относятся также и те, которые высказывают связь между посылками и заключением убедительного вывода — «аксиомы вывода» — и которые нельзя вывести из опыта, не впадая тот час же в порочный круг.

ности и т. д., — отношения, которые могут высказываться как представленной, так и аналогичной ей звуковой парой. Представление звукового ряда, упорядоченного по высоте, содержит возможность его прогресса в бесконечность, [238] прогресса, который вообще не может быть доказан опытным путем («Психология звука»).

Такие предложения не являются, однако, синтетическими в строгом смысле, так как они познаются не только *при помощи* понятий, но также *из* понятий, в какой мере отношения тоже причисляются к материи представления. Все же нужно задаваться вопросом о том, как возможны такие аналитические расширительные суждения. Для этого необходимо, помимо прочего, нахождение самых общих и простых отношений, воспринимаемых непосредственно, а также теории их постижения. Начала этой «общей теории отношения» имеются, однако они еще нуждаются в проверке и углублении. Сами априорные суждения не могут от этого стать очевиднее, однако их теоретико-познавательная структура и значение могут стать более понятными.

Апостериорно познаются (испытываются) как факты, так и законы. Непосредственно испытывается данное в настоящий момент содержание чувств и осуществляющиеся в нем собственные психические функции, опосредствованно — то, что из этого выведено. Выводы относительно независимого от сознания внешнего мира и царящих в нем законов имеют форму вероятностных выводов. Чувственные явления подчиняются принципиальным законам, делающим возможными и предсказания, только посредством того, что мы предполагаем внешний мир со строгими каузальными законами, частью которого выступает наше тело с его органами чувств и движения, а также другие более или менее однородные психофизические субстанции. Вместо этой великой гипотезы, которая включает в себя и действительность каузального закона, вначале, конечно, кажутся возможными две другие: гипотеза единой первосилы (Беркли) и гипотеза бессознательной «продуктивной силы воображения» в нас самих (Фихте). Но стоит только серьезно подумать об осуществимости этих гипотез, как сразу же обе они переходят в гипотезу о внешнем мире. Ибо для того, чтобы произвести объяснения и предсказания, нужно приписать предположенной движущей силе так много частей, что обычно в этом случае требуются элементарные частицы материи, [239] а между этими частями надо еще устанавливать и те же самые закономерности.

Для наивного, нефилософского сознания вера во внешний мир является, конечно, не гипотезой и не продуктом рефлексии, но инстинктивно связана с чувственными явлениями. Однако *такой* внешний мир так же далек от научного внешнего мира, как небо — от земли.

Огромное значение математической вероятности (от которой «философская» отличается только степенью) для любого образования гипотез опять-таки познал и подчеркнул уже *Бреитано*. Но поскольку часто утверждается, что применение самого понятия вероятности уже включает в себя предпосылки о существовании внешнего мира и каузальных закономерностей, то я посвятил этому вопросу особое исследование, и полагаю, убедительно показал в нем, что данное утверждение неверно. И так называемая апостериорная вероятность, как она вытекает из закона больших чисел, не включает указанных предпосылок, поэтому излишне искать физический

механизм, который заставлял бы события подчиняться этому закону. Принцип объективных «свободных пространств» [Spielräume], — как его выделяет Крис, — приводит, по моему мнению, к такому же выводу, если только этот принцип трактуется достаточно широко (а именно, не только применительно к пространственным или временным, но и к логическим свободным пространствам, т. е. к дизъюнкциям). Исчисление вероятности является, стало быть, чисто априорным и выведено из одного только понятия вероятности. В логике оно еще далеко не обрело достойного себя места. Только с помощью этого исчисления можно построить ясную теорию индукции. Одновременно, однако, обнаруживается полная несостоятельность вульгарного эмпиризма: ведь согласно сказанному, всякий индуктивный вывод основывается не на одних только фактах, но имеет также априорный базис. Мы можем, поэтому, согласиться с *Кантом* не только в его верности строгому понятию необходимости, но и в том, что природа есть творение рассудка, хотя, конечно, не в смысле и не по руководству «Критики чистого разума».

Однако основывающиеся на опыте закономерности не ограничиваются лишь каузальными законами. Среди эмпирических законов нужно также различать структурные или субстанциальные законы. В обоих случаях имеют место сокращенные способы действия, при которых в основу кладутся — как уже достаточно доказанные — определенные основные посылки. Там [240] — общий каузальный закон, здесь — регулярности, как их, прежде всего, установила химия относительно сосуществования определенных свойств.

О моем отношении к некоторым принципиальным вопросам логики следует все же заметить следующее: Я всегда придерживался проводимого Брентано резкого отличия суждения от простого представления, однако, преобразование всех суждений (соответственно, высказываний) в экзистенциальные суждения и вытекающий отсюда переворот в теории вывода я позднее уже не принял, главным образом, потому что я (как и Мейнонг) не мог рассматривать общеутвердительные суждения как отрицания.

Понятие «положений дел» [Sachverhalte], играющее все большую роль в новейшее время (Зельц, Кюльпе и др.) было введено *Брентано*, который очень хорошо понимал его важность. Я только заменил его термин «Urteilsinhalt» [содержание суждения] на ныне употребительное выражение, а именно, впервые в 1888 году, в моей лекции по логике в Галле.

Значению фикций для научного исследования я издавна посвящал особый параграф логики, однако никогда не рассматривал их как нечто большее, чем только строительные леса, которые должны убираться после их использования.

Старому вопросу о наиболее целесообразной классификации наук я посвятил работу не из-за самих по себе безразличных мне формальных вопросов, но из-за связанных с этим важных исследований по теории познания. Особенно важно мне было реабилитировать старое различие между науками о природе и науками о духе, покоящееся на различии предметов. Меня радует, что Бехер в своем обширном сочинении стоит в этом вопросе на моей стороне.

## О философии природы

Достойное восхищения развитие физики и химии, которые формируют общие основы наших представлений о природе, никогда не шло иным путем, нежели только что указанным. Чувственные явления были и остаются их исходным пунктом, однако собственным их предметом все больше и больше становился объективный мир. К нему приближаются они на пути гипотез, которые самым отважным образом втягивают в свою область даже объективную природу пространства и времени. То, что эти последние в действительности могут быть не такими, как они нам являются, обнаруживает уже ближайший анализ. Пространство я бы определил как тот [241] аспект реального мира, который делает возможным отношение мер по типу геометрического отношения. А время — как то, что делает возможным изменения и отношения мер между изменениями как таковыми. Сами изменения не позволяют определить себя без времени, т. е. данные понятия суть корреляты. Понятие объективного времени не содержит ничего от прошлого, настоящего и будущего. Этот момент достоин самого особого внимания, и он позволяет понять объективное время как четвертое измерение пространства в математической физике, которую я, впрочем, толкую как чисто вычислительную операцию, при которой, однако, в самой формуле получает выражение особенность времени по отношению к трем другим измерениям пространства.

То, что переход от механического к электромагнитическому пониманию природы находится в обозначенных методических рамках, не требует особого разъяснения. Гипотеза о внешнем мире отнюдь не подчинена ограничениям ее объяснительных средств. Любое допущение является физически пригодным, если оно не противоречиво и допускает количественные предсказания, на которых оно может быть проверено. Наглядное представление пространственных движений должно было прежде всего испытываться, однако оно не обладает объективным преимуществом.

Но переход от дальнего действия к близкому действию был необходим как раз таки в теоретико-познавательном смысле. Я не знаю, где можно было бы яснее понять физическую каузальность, нежели как в рассуждениях подобного рода: «Если между двумя соприкасающимися субстанциями имеются определенные комбинации состояний, тогда у обеих субстанций возникает изменение, при котором новые состояния на одной стороне связаны со старыми состояниями на противоположной стороне. И всякое изменение привязано к наступлению таких комбинаций состояний». (При небольшом расширении эта формула применима и к психофизическому взаимодействию). Тем самым одновременно сказано, что всякое действие является взаимодействием, но сказано также, что нет непосредственного взаимодействия всего со всем, а действовать друг на друга могут только соприкасающиеся субстанции. И атомы (соответственно, электроны), без которых не мыслимы современная физика и химия, не могут, поэтому, действовать друг на друга в пустом пространстве, но только при посредничестве эфира, наличие которого я считаю, поэтому, необходимым требованием атомистики.

С этой точки зрения возникают некоторые трудности для введения понятия «гештальта» [Gestaltbegriffs] в физику, как того требует В. Кёлер в своей

глубокой книге о физических гештальтах. [242] Ведь в законе близкодействия постоянно будет заключено принуждение — проследить действия одной частицы на другую, тогда как психолог может подчеркивать приоритет целого над частями.

Отличие живого от неживого я усматриваю в чудовищно сложной структуре даже относительно простейших живых существ или зародышей. Сложные машинные условия, при которых здесь работают физико-химические силы, возможно, достаточны — без учета, например, определенных психических пусковых процессов — для того, чтобы при более глубоком анализе понять процессы питания и размножения. Ни при каких обстоятельствах исследователь не может допускать силы, действующие то так, то сяк, а то и прямо противоположным образом, как это имело место в случае древней «жизненной силы», но также «бессознательного» ф. Гартмана и психовиталистических факторов Паули. Выражения вроде «энтелехия» или «доминанты» тоже не могут продвинуть исследование. Напротив, мне кажется скорее даже убедительным, чем невозможным, что такие хорошо известные нам сознательно-психические состояния, как удовольствие и боль, а также наши душевные переживания и акты воли, действуют как возбуждающие силы на нервные процессы. Психовитализм в этой эмпирически контролируемой форме, наверняка, не хотел отвергать даже Лотце, хотя он был ярким противником древней «жизненной силы». В эволюционном учении, например, Э. Бехер мог на этом основании построить весьма достойный внимания «принцип использования».

Но для философа проблема витализма отступает назад перед более общей телеологической проблемой. Многочисленные сложно упорядоченные частицы, которые представляет собой уже одноклеточный организм (и нужно также причислять к этому его среду, ибо организмы немыслимы без определенной неорганической среды), осуществляют единые действия, направленные на поддержание жизни. И проблема здесь, как правильно заметил Галиани, есть проблема математической вероятности. Каждый такой комплекс есть выделенный случай среди бесчисленных, самих по себе тоже мыслимых, нецелесообразных [ateleologischen] и бессмысленных расположений тех же самых элементарных частиц. Поэтому данный комплекс является a priori совершенно невероятным, и если все же он дан, тогда он требует упраздняющей эту невероятность гипотезы. Эволюционная теория решает многие загадки, но только не эту. Ведь если современные формообразования возникли из определенных начальных состояний и в непрерывной [243] закономерной каузальности, тогда эти начальные состояния, как бы ни были они просты, опять-таки являются выделенными случаями такого же рода. А вот любому из мыслимых сегодня нецелесообразных образований должно тогда соответствовать отличное от указанного начальное состояние, из которого данные образования возникали бы с необходимостью под воздействием тех же самых природных сил. Таким образом, эволюционная теория не решает, а только отодвигает назад проблему целесообразности. Да так оно и должно быть, если мировой процесс вытекает из вечности, ибо арифметическое отношение выделенных случаев к прочим остается всегда одним и тем же. Какой-нибудь организационный принцип требуется, поэто-

му, в силу любой логики. Если мы называем его разумом, пронизывающим все мироздание, тогда нам, конечно, нужно выражение, заимствованное из специальной сферы, даже если она является наивысшей из известных нам областей. Но если вполне осознается неадекватность понятия и неисследованность первосущества как такового, тогда этот последний шаг может лежать только на пути понятийно-научного мышления.

### **О психологии и философии духа**

Разделительная линия между науками о природе и науками о духе коренится в фундаментальном различии, с одной стороны, чувственных явлений, и с другой – психических функций или содержаний внешнего (чувственного) и внутреннего (психологического) восприятия. Явления и функции непосредственно даны нам в теснейшей связи, однако разнородны по своей сути. Наблюдение функций есть основа наук о духе, которые, однако, так же, как и науки о природе, не застревают в этой своей основе. Как и естествознание, науки о духе стремятся из единственно наблюдаемого внутреннего мира понять господство психических сил вообще и проистекающих отсюда действий и результатов. Среди этих духовных дисциплин психология занимает такое же место, какое физика – среди естественных наук.

Исследование чувственных явлений как таковых, которое занимает сегодня столь большое место, является в основе своей не психологией, а как раз феноменологией, т. е. преднаукой [Vorwissenschaft], которая совместно развивается физиками, физиологами и психологами. Психологи уделяют ей сегодня особое внимание, потому что [244] они нашли в ней точно и экспериментально исследуемую область, на примере которой можно также проследить закономерности актуальных там психических функций. Предварительные феноменологические работы издавна занимали и меня, однако целью оставалось познание функций.

#### *1. О феноменологии*

Мне кажется слишком преувеличенным мнение, будто вообще не существует никаких чистых ощущений (явлений). Нельзя наблюдать звуки, не наблюдая их, однако изменяться от этого они вовсе не обязаны. Согласно всему, что мы знаем о внимании, оно проясняет свои предметы, способствует их познанию. Поэтому я не вижу никакой причины для бесплодного скепсиса указанного популярного возражения, как и не могу я согласиться с двусмысленными разговорами об «относительности» ощущения. Тем не менее, в «Психологии звука» я выбрал в качестве исходного пункта не ощущения [Empfindungen], а «чувственные суждения» [Sinesurteilen] и предпослал этому исследования об условиях достоверности, потому что именно ощущения даны нам лишь в качестве содержания мнений, а вот эти последние могут быть ложными и недостоверными. Экспериментальная психофизика становится таким образом измеряющей теорий суждения. Среди чувственных суждений я различал непосредственные и посредствующие суждения и боролся с манией повсюду привлекать промежуточные критерии и побочные впечатления. Далее, раз-

личались суждения об ощущениях и суждения о дистанциях ощущения. Что отношения между ощущениями могут непосредственно восприниматься вместе с ними и в них самих, — это было тоже одним из моих тезисов и таковым осталось. Можно, конечно, не слышать отношение двух тонов, но замечать его, а замечать означает воспринимать [W ahrnehmen].

В качестве одного из главных вопросов феноменологии мне представлялся вопрос об атрибутах (фундаментальных свойствах) ощущений. Уже в книге о пространстве центральный пункт доказательства образует понятие «психологических частей», т. е. несамостоятельных или частичных содержаний, которые не могут в силу своей природы восприниматься отдельно, но представляют собой лишь независимые способы изменения самих по себе единичных ощущений. *Гуссерль* развил потом эти рассуждения в концептуальном аспекте. Я вернулся к данной теме, прежде всего, в моем сочинении об атрибутах зрительного ощущения, однако отказался от «психологических [245] частей» как непригодного выражения. В этом сочинении я постарался спасти для зрительных ощущений часто отрицаемый у них атрибут интенсивности. Качество, яркость, интенсивность и экстенсивность кажутся свойственными, хотя и в очень разной степени выражения, всем ощущениям.

Но есть еще один фундаментальный вопрос, осмысленный уже Аристотелем: вопрос о том, представляют ли собой единство или многообразие одинаковые по времени и пространственной локализации ощущения одного и того же чувства. Для чувства звука я принял решение в пользу многообразия, а для цветоощущения — в пользу единства и — в противоположность к насильственным аналогиям — в целом придавал значение существенным различиям этих двух чувств, принимая во внимание их имманентные закономерности.

В области звуков следует прежде всего констатировать свойства простых тонов, т. е. тонов, которые производятся посредством синусоидальных колебаний, поскольку эти колебания никак не могут быть субъективно разложены на множество — ни в каком опыте, никаким упражнением и никаким вниманием, а потому обещают постоянные результаты. Для их надежного производства я ввел разрушение обертонов при помощи интерференционных труб. Таким образом, я одновременно доказал, что источник звучания резонирует только на (приблизительно) настроенный в унисон источник, а не отличный от него, как это часто утверждали раньше физики по примеру *Уитстона*, и что *Вундт* хотел еще объяснить посредством особых опытов. Благодаря этому было получено удобное вспомогательное средство для анализа звуков, а тона, считавшиеся до того времени простыми, оказались все еще сложными. Вследствие этого, например, в споре с *Гельмгольцем* утратили свою остроту серии наблюдений, проведенные *Рудольфом Кёнигом* на электромагнитных вилках и на волновой сирене.

Мои представления о фундаментальных свойствах простых тонов в том смысле изменились со времени «Психологии звука», что я признаю сейчас «музыкальное качество», повторяющееся от октавы к октаве (наряду с «высотой», которая просто протекает параллельно с числом колебаний) как в равной мере изначальный момент в индивидуальном развитии. Это качество, подробно проанализированное уже в «Психологии звука», я считал

тогда выводимым опытным путем из слияния октав и как факт, естественно, всегда его признавал.

Сами различия звуковых слияний, которые сейчас повсеместно проникли в психологию, тоже относятся к старому наследию. Отчасти они были уже известны древнегреческим теоретикам. А сам я, еще не ведая об этом, обнаружил их при игре на фортепиано в пражский период моей жизни и позднее объективно подтвердил их наличие при помощи статистики стандартных суждений музыкально неодаренных людей. Проявившиеся при этом различия в числах стандартных суждений также в дальнейшем всегда подтверждались.

[246] Из-за важности, которую, как мне казалось, имеют эти различия для теории консонанса, меня заинтересовали также случаи, при которых эти различия не проявлялись, а именно, в наивысшем положении тона и при самих коротких звуковых впечатлениях. Отсюда возникли и работы по определению числа колебаний очень высоких тонов посредством их разностных тонов. При помощи этого метода было обнаружено, что общепотребительные тогда вильчатые серии *Аппуна* были отмечены совершенно фантастическими звуковыми высотами. В случае кратчайших звуковых впечатлений обнаружилось, что вместо музыкальных интервалов отныне оценивались дистанции. К аналогичным результатам пришел позднее *фон Мальцев* для высоких сверхмузыкальных положений звука.

Консонанс как один из фундаментальных феноменов музыки я определял через слияние и полагал, что я тем самым в любом случае показал недостаточность других определений, включая гельмгольцевское, а также неправильность дуалистических теорий консонанса *Римана* и *ф. Эттингена*. Но от консонанса я отличал конкорданс, который не является чисто чувственным свойством звуков, но основывается на введении консонансных трезвучий как строительных элементов нашей музыкальной системы. Рациональный мотив для строительства трезвучий я усматривал в нахождении большого числа консонансных между собой тонов внутри октавы. Тем самым было дано разделение аккорда на конкорд и дискорд, а также основа всей классической гармонии.

Межу тем мой взгляд на слияние и на определение через него консонанса с течением времени изменился. Я думаю, что мы уже в следующих друг за другом звуках как таковых должны видеть проявления первичного сродства, которое, однако, позволяет объяснить себя не психологически, а пока только физиологически. Однако слияние и консонанс одновременных звуков кажутся мне сейчас следствием, а не причиной сродства. При этом различия слияния все же сохраняют свое большое значение для музыкальной высоты и для чувственного воздействия интервалов.

«Определения меры относительно чистоты консонансного интервала» исследовали музыкальный слух отчасти на мне самом, отчасти на других людях. Были установлены определенные отклонения от физически чистой настройки, которые, однако, указывают не на темперированный или пифагорейский, а на сильно выраженный эстетический мотив и наиболее отчетливо обнаруживаются как раз у людей, исключительно одаренных в музыкальном отношении. Наиболее необычным было консонансное повышение вос-

ходящей октавы почти до простых тонов у членов Высшей музыкальной школы, возглавляемой Йоахимом. Правда, в созвучии на скрипке она все же исполнялась в чистом виде.

Исследование субъективных тонов и двойного слуха сводит вместе наблюдения, проведенные на мне самом и как раз из области, которой по сравнению с лишенными оптического эффекта явлениями до сих пор не уделялось достаточного внимания. Каким образом субъективные тона можно ввести в теорию слуха — это еще остается совершенно неясным. Именно поэтому мне казалось желательным точное описание обстоятельств их появления, и у меня было лишь чересчур много материала, чтобы успеть его весь собрать. Редкое явление двойного слуха было [247] даровано мне как своего рода компенсация за прокол левой барабанной перепонки.

Содержащиеся в «Звуковых таблицах» формулы для вычисления интервалов могли бы претендовать на более широкий интерес, поскольку, даже полностью не принимая во внимание определенные числа отношений, с их помощью можно делать расчеты и предсказывать правильные результаты. Это есть тот случай, который даже открывает определенные метафизические перспективы.

Чисто физическая статья о сложных волновых формах была в главных своих чертах написана мною в Вюрцбурге, когда отстаиваемый *Гельмгольцем* анализ посредством завитка казался мне еще сомнительным, а потому представлялись важными свойства сложных колебаний как таковых. Но именно потому, что естественные классы этих колебательных форм совершенно не обнаруживались в самих звуковых явлениях, это оказалось новым доказательством в пользу гипотезы *Гельмгольца*. Некоторые обсуждаемые в той статье вопросы, к примеру, вопрос о дефиниции периода при таких волновых формах, стали между тем волновать и физиков.

В исследовании, посвященном смешанным звукам, мне важно было как можно полнее описать явления и закономерности этой очень сложной сферы, — явления, относительно которых могут судить не любые «испытываемые», а только вполне тренированные наблюдатели и участники наблюдения. Дедукция этих явлений и закономерностей из свойств мембранных частей слухового органа составляет теперь задачу физиологии.

Многие из моих наблюдений относились к биениям (промежуточным тонам и т. д.). Решающим доводом против *гельмгольцевской* теории консонанса стал для меня в 1875 году тот факт, что при известных условиях указанные биения можно исключить посредством размещения двух вилок на оба уха, в то время как диссонанс будет при этом оставаться. Явления «раздвоенного» (раздельно-ушного) слуха я и в других случаях часто находил поучительными.

В противоположность к распространенным теориям о непространственной природе звуковых ощущений я отстаивал существование локальных признаков для правого и левого уха, а также различия по объему для низких и высоких тонов. Что оба уха могли без всякого движения головой за несколько минут правильно локализовать (*Бейли*) до 10 звуков, предложенных им строго одновременно и в любом порядке, — этот факт становится понятным только из указанных выше имманентных локальных признаков. Дальнейшие весьма неожиданные разъяснения относительно пространственной

мощности слуха, как известно, дали в последнее время *ф. Хорнбостель* и *Вертхаймер*. А первый из них распространил сейчас свои исследования и на акустическое восприятие расстояний.

Анализ гласных, вообще фонем языка, при котором существенную роль играли большие интерференционные устройства, а также основанный на этом синтез гласных, были предметом моей последней экспериментальной работы. Для синтеза я с самого начала установил себе три условия: большое число совершенно простых тонов, постоянная и тонкая регулировка каждого тона, проверка естественности произведенных гласных посредством произвольных испытаний. Предварительный отчет о результатах этого исследования можно найти в ряде моих статей, а общие выводы [248] — в почти уже написанной итоговой книге. Для общей феноменологии могли учитываться прежде всего те воззрения, к которым меня привела совокупность наблюдений относительно возникновения так называемых «сложных качеств» [Komplexqualitäten]. Основание *Гельмгольцем* теории гласных, долго и горячо оспариваемое, обнаружило для меня свою истинность. И для большинства согласных могли быть определены положения тонов и до некоторой степени произведен анализ. Наконец, те же самые методы анализа и синтеза оказались возможным применить и к музыкальным инструментам. Результаты исследования фонем включены теперь в учебники по физиологии, но они были также практически применены и одновременно подтверждены врачами по ушным болезням, инженерами в области радио- и телефонной техники.

Закономерности, касающиеся отношения восприятий [Empfindungen] к внешним раздражителям: специфические энергии и *Фехнеровский* закон играют роль и в моих работах. Следует только заметить, что понятийные трудности указанного закона казались мне разрешимыми посредством его указания на *дистанции* восприятия (точка зрения, к которой, независимо друг от друга, мы пришли вместе с *Дельбёфом*, *Герингом* и *Эббингаузом*). Причем в области высоты звука было найдено необычное подтверждение или аналогия этого закона в азиатских гаммах (*Сиам*, *Ява*) с таким же числом ступеней, гаммах, которые основываются не на слияниях звуков, а на суждениях о дистанциях. Но эта формулировка ставит себе целью, конечно, не объяснение, а только психологически корректное изложение закона. Чаще всего практикуемую ныне физиологическую дедукцию я тоже считаю правильной, по крайней мере, в области интенсивностей.

К атрибутам явлений я причисляю также пространство. Это воззрение по сравнению с господствовавшим в эпоху *Лотце* эмпиризмом почти повсеместно утвердилось сегодня среди психологов. Из него следует, что цвет так же не возможен без протяжения, как протяжение — без какого-либо качества, и что поэтому уже первые зрительные восприятия [Gesichtsempfindungen] должны каким-то образом проявляться пространственно (нативизм). Мускульные ощущения [Muskelempfindungen], которые обычно идентифицировались с пространственным представлением или, по крайней мере, рассматривались как неотъемлемые для него предпосылки, должны теперь довольствоваться более скромной ролью. И только 3-е измерение, которое с очевидностью оснащено более скудно в нашем воззрении, должно еще за себя побороться. Три силлогизма моей книги о пространстве я бы, конечно,

уже не одобрил в этой их форме; они должны быть, собственно, только описаниями того, что в нашем представлении о пространстве мы находим в качестве необходимых свойств глубины. [249] И помимо этого, некоторые моменты данной части книги тоже устарели. И все же следует, пожалуй, указать на то, что пространственные восприятия [Raumempfindungen] я никогда не мыслил непосредственно и исключительно как зависимые от раздражителя, но подчеркивал также участие факторов центральной нервной системы, к примеру, при величине зрения [Sehvermögen].

В представлении о времени я придерживаюсь первоначальной *брентановской* формулировки, согласно которой данное представление основывается на продолжении существования всего содержания представлений при субъективном отодвигании их в течение краткого объективного промежутка времени. Однако продолжающее таким образом существовать содержание кажется мне, как таковое, лишенным наглядности, что особенно важно для широко обсуждавшегося вопроса о последовательном сравнении.

Проблема феноменологии есть, в конце концов, проблема различия простого представления [bloße Vorstellung] и восприятия [Empfindung]. Простые наглядные представления суть — а это было результатом моего подробного исследования — явления 2-го порядка, которые отличаются от явлений 1-го порядка главным образом своей гораздо меньшей силой и полнотой, но наряду с этим еще и другими чертами.

Законы возникновения (репродукции) этих явлений позволяют подвести себя (коль скоро имеются ассоциативные побуждения) под единую формулу «касания» или «дополнения», и помимо этой формулы не требуется никакого особого закона подобия. Вопросом, однако, остается то, осуществляется ли данная репродукция когда-либо *чисто* механически, или она предполагает каждый раз определенную функциональную активность? Помимо этого, существует еще чисто физиологическая репродукция без ассоциативных побуждений, в чем нет ничего удивительного с учетом принципиальной однородности восприятий и представлений. В мире сновидений такого рода репродукция должна быть даже преобладающей.

## 2. О психологии в узком смысле.

Элементарные психические функции или состояния характеризуются определенными основными качествами: 1. своеобразным соотношением акта и содержания (причем содержание может сохраняться в чувственных явлениях, а потом также в ненаглядных элементах и в самих функциях); 2. недостатком пространственных качеств для самонаблюдения (хотя они, без сомнения, осуществляются в объективном пространстве); 3. специфическими структурными законами. Между собой указанные функции обнаруживают многочисленные качественные различия, и нет никакой возможности свести их к одной единственной основной функции, к чему стремятся сенсуализм и эмпиризм. Прежде всего, [250] расходятся интеллектуальные и эмоциональные функции; но внутри каждой из этих категорий выделяются виды функций, которые одновременно образуют между собой ступенчатый порядок, при котором последующие ступени включают в себя предшествующие. Среди интеллекту-

альных функций — это замечание [Bemerken] (различение), объединение [Zusammenfassen], образование понятий [Begriffsbildung], суждение [Urteilen], а среди эмоциональных — пассивные и активные эмоции. Эти последние опять-таки основываются на интеллектуальных функциях, к которым они присоединяются все-таки как новые функции, а не как выводимые из них состояния. Все эти отношения сохраняют образ разнообразных структур, своеобразии которых еще далеко не достаточно было описано. Не самой малой заслугой *Брентано* следует считать то, что он ясно осознал эту задачу и в значительной мере решил ее. В его школе в том же направлении работали прежде всего *Марти*, *Мейнонг* и *Гуссерль*. До Брентано структурное своеобразие функций сознания, в особенности, «соотносящего мышления» [beziehenden Denkens], подчеркивал *Лотце*. После Брентано в пользу структурной психологии энергично выступал *Дильтей*, который, впрочем, вряд ли был при этом спровоцирован гуссерлевскими идеями. Научный интерес Дильтея и его труды лежали, скорее, в сфере тонко сочувствующего понимания психических взаимосвязей в целом, нежели в анализе элементарных психических функций, или «микроскопической психологии», как однажды назвал ее Брентано.

Моя работа о понятии душевного переживания [Gemütsbewegung] направлена главным образом против его сенсуалистического определения у *Джеймса* и *Ланге*, тогда как мои статьи об «эмоциональных восприятиях» [Gefühlsempfindungen], наоборот, пользуются чувственными эмоциями [die sinnlichen Gefühle] как подлинными восприятиями чувств [Sinnesempfindungen] (явлениями). Последний тезис я должен был защищать ввиду недоумений. В основе своей он не является столь крамольным, как это некоторым кажется. Ведь, помимо того, что он лишь обновляет одно из старых учений, в особенности представленное в английской психологии, мною никогда не отрицалась тесная инстинктивная связь данного класса восприятий с актами удовольствия и неудовольствия, вожделения и отвращения. Напротив, я везде специально подчеркивал эту связь и как раз поэтому выбрал выражение «эмоциональные восприятия». Слишком далеко заходил я только в одном моем случайном утверждении, будто такие выражения, как «боль» или «приятность» (отнесенные к телесным причинам) означают не что иное, как содержания чувств. Однако смысл этих выражений в обыденной жизни, скорее, включает в себя вышеуказанные инстинктивные эмоции. [251]

Через всю душевную жизнь человека проходит сечение, которое внутри каждой из больших областей отделяет высшие функции от низших. Сечение это дано благодаря появлению общих понятий. Как бы ни пытались эти понятия объединить с отдельными представлениями, — такое предприятие не выдерживает никакой критики. И это, конечно, разные вещи: описывать, с одной стороны, *успехи* понятий в плане сокращения мышления, а с другой — их *сущность*. Аналогичным образом, разными вещами являются, к примеру, физиология и анатомия легкого. Среди интеллектуальных функций понятия предполагаются логическим мышлением, а среди эмоциональных — душевными переживаниями и волевыми актами. Хотение [Wollen] — это жажда [Begehren] чего-то, что мыслится как следствие моего актуального душевного состояния и как нечто ценное в каком-либо смысле. Оба понятия, понятие каузальности и понятие ценности, взятые в их самой общей и примитивной

форме, попадают благодаря внутреннему восприятию в сферу низшего желания, предшествующего хотению. Воля, поэтому, не может быть чем-то первоначальным, а есть лишь продукт развития индивидуальной жизни.

В животном царстве кажется широко распространенным то, чего может достигать душевная жизнь без понятийного мышления, а такого существует немало. Однако никакой априорный предрассудок не удержал бы меня от признания в этом царстве еще и зачатков высших функций, если бы только факты позволяли это. Однако и в данном как раз случае следовало бы рассматривать первые следы понятийного мышления как нечто специфически новое. Даже если в физическом отношении развитие «нового мозга» происходит непрерывно, в психическом аспекте ничто здесь не совершается без прерываний. Но природа делает ведь и другие скачки, вероятно, даже в физической области (кванты, гетерогенезис, мутации), и уж во всяком случае, в психофизической, где любое появление нового чувственного качества, без сомнения, представляет собой скачок. И разве не совершается в каждую минуту этот самый удивительный скачок, когда вследствие зачатия и развития плода возникает новая психическая жизнь? Прерывания только скрываются и в некоторой степени смягчаются тем, что новое всегда выступает вначале в виде крошечных зачатков; однако в качественном отношении здесь именно вплетается новая нить в ткань бытия. Причем это не наносит никакого вреда имманентной закономерности мирового развития.

Среди принципиальных вопросов общей психологии проблема бессознательного все еще относится к наиболее жгучим проблемам. [252] Бессознательные (в строгом смысле) функции кажутся мне нигде не доказанными посредством приведенных выше аргументов. Напротив, существуют, разумеется, бессознательные диспозиции, как они остаются от всех видов психической деятельности. Кроме того, мне представляются возможными и реальными бессознательные (или, вернее, незамеченные) части содержания явлений. Эти части образуют нижнюю границу принятого во внимание содержания [des Beachtetseins]; часто хватает малейшего усиления внимания, чтобы сделать их заметными. Коль скоро явления и функции различаются между собой, то нет никаких принципиальных трудностей в этом учении.

Если признается существование незамеченных частей содержания, тогда уже нетрудно определить суть того понимания гештальта, на котором мои юные друзья-исследователи, имеющие заслуги в исследовании законов гештальта, по-видимому, хотели бы построить всю психологию и даже логику.

От психических функций я отличаю психические *формообразования*, которые образуют специфические содержания психических функций. Таковым при объединении выступает совокупность, при суждении — положение дел, в случае понятийного мышления — содержание понятия, а при чувствовании и желании — пассивная и активная ценность. Все эти формообразования не обладают, разумеется, самостоятельной реальностью наподобие платоновских идей, однако я не стал бы называть их фикциями, — вслед за *О. Краусом*, ссылающимся на позднего Брентано. Этот способ выражения представляется мне двусмысленным и опасным, ибо он действительно предполагает скептическое, субъективистское и релятивистское истолкование. Формообразования суть исходный пункт и предмет науки, названной мною эйдологией.

Под душой я понимаю целое психических функций и диспозиций, соглашаясь с *Лотце* в том, что нет необходимости искать позади этого целого нечто объединяющее или несущее. Поскольку сильная воля все вовлекает в свой круг, а в жизни взрослого человека решающую роль играют те функции и диспозиции, которые связаны с хотением и в особенности с моральным хотением, постольку воля по праву считается ядром личности. В этом именно усматриваю я момент истины волюнтаризма. Воля — это не корень, а вершина развития.

Если задаться целью — различить душу и тело, тогда последним термином я бы обозначил совокупность проявлений высшей психической жизни. Для основанных на взаимодействии индивидов [253] социальных явлений в языке, искусстве, государственном строительстве и т. д., образующих предмет конкретных дисциплин, можно обнаружить подготовительные ступени в животном царстве. Однако и здесь переход, пожалуй, нигде не является непрерывным, а новое, в конечном счете, везде коренится в понятийном мышлении. В «Началах музыки» я попытался определить это конкретнее для музыкального искусства. Только в отношении к специфически человеческому развитию одновременно открывается для нас и возможность внутреннего сопереживания [*Nacherlebens*], на котором основывается эта «понимающая психология». Впрочем, историк культуры не преминет и здесь увидеть некоторые закономерности, правда, не в точной формулировке природных законов, и я не хотел бы в этом отношении даже гегелевской триаде отка-зывать в известном праве на существование.

### Об этике

Мои этические идеи я развивал почти исключительно в лекциях, хотя наиболее принципиальные моменты были указаны и в моей речи об этическом скептицизме. Я усматриваю их, вслед за *Брентано*, в чувственной очевидности [*Gefühlsevidenz*], с которой определенное содержание представляется нам как само по себе хорошее или ценное, подобно тому, как очевидные суждения представляют основы теоретического познания. Эмпирическая дедукция альтруизма из эгоизма абсолютно несостоятельна. От гедонизма, в том числе альтруистического, наше основание отличается тем, что кроме удовольствия, в качестве первичных признаются и другие ценности, а от *кантовской* этики — тем, что отвергаются чисто формальные определения. Непосредственно ценными являются: истина, положительные душевные переживания (в особенности, эстетические), сердечная доброта (убеждения, которые сами направлены на истинные ценности). Для этого можно было бы, пожалуй, установить некую единую ученую формулу, но только за счет определенности, что нецелесообразно. Целый ряд производных, но все еще общих ценностей, таких как, власть, свобода, честь и т. д. дополняют нашу «таблицу благ» [*Gütertafel*], которая не очень-то отличается от платоновской. Только такая этика благ или ценностей кажется мне последовательно осуществимой вплоть до деталей и одновременно способной воздать должное фактическим преобразованиям этического уважения. При этом как бы меняются коэффициенты, при помощи которых [254] в различных обстоятельствах и жизнен-

ных условиях должны быть умножены абстрактные (абсолютные) ценности, чтобы сохранить ценности конкретные (относительные). Уже в каждом отдельном случае нравственного решения должно совершаться одно и то же. Можно высказать точки зрения, от которых в отдельном случае зависит модификация абстрактной ценности, и за которыми в этой связи следует этическая рефлексия. Высшее благо и счастье (эвдемония древних) есть *in abstracto* целое непосредственных ценностей, а *in concreto* — целое истинных благ, в том числе промежуточных, возможных в данных условиях в индивидуальной жизни и в жизни всего человечества. И понятие трансцендентного идеала (платоновской идеи блага) можно, естественно, получить только из эмпирически данных, истинных ценностей посредством их усиления. Вопрос об эгоизме и альтруизме решается тем, что истинные блага желанны в силу их понятия, где бы то ни было, и что в отдельном случае решающей может быть не точка зрения *ego* и *alter*, но позиция максимально интенсивного и экстенсивного осуществления. Этическое действие есть чисто объективное [*sachliches*] действие, подобно тому, как научное познание является чисто объективным суждением.

В вопросе о свободе воли мне кажутся совместимыми интересы этики, для которой только и существует эта проблема, с детерминизмом, рассматривающим само этическое сознание как силу, умножаемую посредством воспитания и самовоспитания. Свобода совпадает с наличием этического сознания и не дана, поэтому, раз и навсегда, но возникает и растет вместе со всей этической личностью. И уголовное право только в этом смысле предполагает свободу воли.

### О метафизике

Метафизика может быть плодотворно выстроена только снизу, как продолжение наук, чьи результаты она должна впоследствии подвергнуть еще большему обобщению. Помимо того, что из вышесказанного относится к предмету метафизики, речь здесь, прежде всего, идет о проблеме отношения физического к психическому, а также о последних вопросах, касающихся бога и бессмертия, собственные ответы на которые должен искать всякий, кто хочет называться философом. И ничто, даже успевший стать догматичным критицизм, не может запретить философу всю жизнь заниматься осмыслением этих вопросов.

В противовес учению о параллелизме души и тела, господствовавшему среди психологов и физиологов в последней трети прошлого века (и представленному с особо подкупающей глубиной у *Фехнера*), я встал на защиту старой, но только развитой в более рациональной форме, теории взаимодействия. Эта теория в последнее время вновь получила распространение, даже среди учеников Вундта и Эрзмана. Вытекающие из закона энергии возражения решаются без особого труда, а опыты Рубнера и Этуотера непосредственно включаются в теорию взаимодействия. Параллелизм же, напротив, неясен в понятийном отношении, он невыполним в силу разных структурных отношений психического и физического, и продуманный последовательно, он заставляет принимать такие цепи психической каузаль-

ности вперед и назад, для которых не существует даже тени эмпирического подтверждения. Панпсихологизм, в который переходит параллелизм, я могу рассматривать только как научную фантазию, к тому же сомнительного очарования. Ибо поэзия приходит в природу только тогда, когда в нее переносится душевная жизнь человека. В остальном же обе эти позиции все-таки существенно сблизились, уже благодаря совершенствованию понятия субстанции и причинности, но также и под давлением фактов. И я смею даже надеяться на их достаточно скорое единение в «монизме взаимодействия и развития». Метафизик, помимо этого, может еще осмыслить идею *Спинозы* о том, что помимо двух известных нам областей еще существуют или развиваются бесчисленные выражения основы мира. Но, правда, одной только идеей дело здесь и закончится.

Согласование в свойствах последних частиц материи и взаимодействие между всеми пространственно смежными или (как в случае нервных центров и психического) взаимопроникающими частями мира не могут приниматься нами как последние факты, если имеют силу вышеуказанные максимы исследования, включая правила вероятности. Единый мировой принцип должен лежать в основе всего, и с самого начала мы будем склонны идентифицировать с этим духовный принцип организации, постулируемый для органического мира. Спор между теизмом и пантеизмом теряет свою остроту, коль скоро задаются вопросом о том, что вообще означает первопричинность, субстанциальность, личность, и что они вообще еще могут *здесь* означать. Вечная обусловленность всего единичного [256] Главным Существом остается, а вот о конкретном виде этой обусловленности и этого Существа невозможно договориться. Ведь даже понятие духовности можно понимать только в «переносном смысле».

Таким образом, остается неразрешенным самый трудный из всех вопросов — вопрос о происхождении и смысле зла. Здесь можно вместе с теистом отступить, как к последнему бастиону, к необъяснимому решению Бога, или (в более пантеистическом духе) подчеркивать существенную связь божественного духа с природными законами, или понимать зло, даже злой дух, как составную часть собственной природы Бога, а развитие мира — как имманентное становление абсолюта. Однако все это будет примерно одним и тем же. Пожалуй, многие могли бы найти самое сильное утешение в истине, что Бог борется и страдает в нас и вместе с нами. Наверняка, именно упорные попытки решить проблему теодицеи привели многих к пантеизму, главным образом, к его ярко выраженным мистическим формам. Однако в этих вещах, как и в этике, бесполезны излишне ученые формулы, разве что только для того, чтобы скрыть невежество. И пантеист может в тяжкую годину вложить свою жизнь и судьбу в руки Господа, а в часы наивысшего счастья поблагодарить Творца за то, что мир, полный страдания, скрывает в себе и такое великолепие, и что человеку дано сердце, способное его вместить. Ибо речь всегда идет только о различных степенях очеловечивания мира, и все говорящие об этом питаются притчами. Если даже естествознание постигает закономерности внешнего мира при помощи символов, почему тогда *здесь* мы должны от них полностью отказаться? Ведь от такого приращения они еще не превращаются в одни только фикции. О возможности

таких фикций нужно говорить лишь в том случае, когда злоупотребляют именем Бога и слишком грубо очеловечивают мир.

Сознание того, что наша жизнь создана ради вечности, никогда меня не покидало. Хотя духовное возникает из материального и в период своего существования постоянно должно питаться и возбуждаться чувственными впечатлениями, оно все же не кажется исключительно зависимым от последних. Дальнейшее существование высшей психической жизни (сообразно мере, в какой образовалось ее ядро, моральная личность) еще можно допустить, но вот форму этого существования, опять-таки, представить себе очень трудно. Наверняка, вовсе не бездушно-эгоистические мотивы заставляли таких мужей, как *Лессинг*, *Кант* и *Гёте* не в меньшей мере, чем *Лотце*, *Фехнер* и *Брентано* [257] придерживаться подобного рода идей; нет, их побуждало к этому внимание и почтение к бесконечному в нас, а также бессмысленность мира, в котором единственное по-настоящему ценное возникает лишь затем, чтобы то и дело погибать, и в конце концов — исчезнуть окончательно.

Пожалуй, нет нужды особо подчеркивать, что мне всегда были совершенно чужды оккультно-спиритуалистические увлечения. Это вопрос вкуса, позволяет ли человек в буквальном смысле пускать себе пыль в глаза, и кажутся ли ему достаточно стужими для этой цели вкрадчивая мелодия газет, их мудрости о потустороннем мире и прочие их эманации.

### **Об эстетике и музыковедении**

Размышления о воздействии искусства, особенно музыки, составляли начало моего научного мышления. Позднее я часто обсуждал эстетические проблемы в моих лекциях и докладах, однако опубликован был только один из докладов, а именно «Услада трагедией» (1887). Прогресс в этом старом вопросе казался мне возможным только в том случае, если не возвышать какое-то одно начало до единственного объяснительного принципа, но привлечь к делу взаимодействие всех психических сил — от простой потребности в сенсациях до высших моральных и метафизических идей. Моя вторая важнейшая мысль состояла в том, что истинно художественное наслаждение основывается не на инстинктивной увлеченности [Mitgerissenwerden], но развивается только для объективно обзорающего представления, в котором нам образно дается совокупность действий и характеров. «Вчувствование» [Einfhlung] есть лишь одна из станций на этом пути. Даже этические воздействия художественно опосредствованы таким созерцанием этических убеждений. Только внутри этого образа оказывает свое этическое воздействие и гибель героя. Наконец, я подчеркивал различие сиюминутных воздействий от воздействий последующих, к изображению которых сводятся многие объяснения.

Сходные точки зрения кажутся мне действительными и для других искусств. Мне не суждено было систематически реализовать эти принципы для музыкального искусства, где определение эстетического предмета составляет особые трудности, и где вообще пересекаются все центральные вопросы эстетики. Я бы выделил при этом три главных фактора музыкального воздействия, которые, однако, в зависимости от индивидуума могут нахо-

даться в очень разной взаимосвязи. Речь идет о чисто чувственном благозвучии [258] (включая чувственное воздействие ритма), об удовольствии от композиции и технического исполнения и, наконец, о радости от содержания музыкального произведения. В этом третьем, наиболее дискуссионном, пункте мои мысли ближе всего соприкасаются с идеями *Лотце*.

Однако мне было, прежде всего, важно перевести уже набившие оскомину спорные вопросы прежней музыкальной эстетики в более обширный комплекс проблем *музыкальной психологии*, а эту последнюю – в рамки общего *систематического музыковедения*. До сих пор музыковедение часто еще значит у его профессиональных представителей лишь историю музыки. И все же именно для этого искусства, если не принимать во внимание его наиболее глубокие воздействия, благоприятно складываются условия объективного [sachlichen], каузального понимания. Физика, физиология, психология, народоведение, общая эстетика и философия могут тогда сотрудничать с историей музыки. Мои усилия, способствовавшие этому сотрудничеству, встретили радостную поддержку, правда, иногда и сопротивление. На философском факультете в Берлине со времен Гельмгольца и Шпитты необходимость такой связи наук была признана тем, что экзамен по систематическим областям (акустика, психология звука, музыкальная эстетика) образует неотъемлемую часть музыковедческого экзамена для получения докторской степени.

К систематическому музыковедению относятся, помимо моих работ по физической и психологической акустике, в особенности сочинение «Музыкальная психология в Англии» и книга о началах музыки.<sup>6</sup> В работе, представляющей собой подготовительное исследование к более поздним томам по психологии звука, обсуждалось, с оглядкой на *Спенсера* и *Дарвина*, отношение музыки к языку и отношение человеческой музыки к музыке животных. Но подробнее всего там анализировался чрезмерный нативизм *Герни* (Power of Sound), который почти полностью отказался от генетических рассуждений и привлек к объяснению только любовные чувства наших животных предков. Здесь открывался простор для объяснений, которые сводились к сказывающемуся впоследствии опыту индивидуума и к сопровождаемому таким опытом музыкальному мышлению. Впрочем, *Герни*, хороший знаток музыки, дал на это свой [259] ответ (Tertium Quid); но я бы не хотел больше продолжать методические споры, которые *Лотце* очень верно сравнил с наточкой ножа. Позднее (прежде всего, в школе *Кюльпе*, а также в Англии и Америке) воздействия отдельных звуковых интервалов [Tonschritte] были исследованы на многочисленных испытуемых, а их показания добросовестно запротоколированы. Но я полагаю, что тем самым исследование остается в плену случайностей и формальностей, которые менее значимы для сущности подлинного музыкального восприятия. И прежде всего забывают, что изолированные интервалы главное свое воздействие обретают не из самих себя, а из более ранних связей. Поэтому разъяснить значение этих выхваченных из общей связи структурных единиц может только человек, кото-

<sup>6</sup> Кроме этого, музыкально-эстетические темы можно найти во многих моих позднейших сочинениях, а также в популярной статье о берлинских концертах народной музыки и в некоторых рецензиях.

рый в равной мере одарен музыкально и психологически, и который может самым длительным образом углубиться, как в общую структуру нашей музыки, так и в структуру своих переживаний. Но самое глубокое относительно целого и его частей не сможет облечь в слова и понятия даже такой человек, да и хорошо, что не сможет.

О развитии моих исследований, посвященных музыкальному народоведению или сравнительному музыковедению, уже было сказано выше в пункте I. То, что раньше в изложениях музыкальной истории можно было найти в образцах экзотической музыки на основе полевых исследований, основывалось главным образом на совершенно недостоверных первых впечатлениях от мелодий, которые потом вдобавок еще стремились гармонизировать в современно-европейском духе. После того, как А. Эллис произвел на экзотических инструментах числовые определения гамм, а В. Фьюкис привлек фонографы для записывания пения, был открыт путь для точного сравнительного музыковедения. Эта дисциплина получила потом самую действенную поддержку в нашем берлинском кругу, в особенности благодаря ф. Хорнбостелю. Сейчас мы знаем — не преуменьшая от этого значение чудес нашей эпохи и не выдавая примитивные формы в качестве прогресса — что якобы общепонятный «мировой язык чувства» обнаруживает не просто громадные изменения с течением времени, но одновременно столь же громадные различия в разных частях планеты. Импозантное развитие гармонической музыки многих, даже Хуго Римана, привело к тому предрассудку, будто вся музыка должна исходить из трезвучия и что якобы даже в основе вполне унисонной музыки лежит скрытая гармония, наконец, что нейтральные терции и другие отклоняющиеся интервалы могут быть [260] только расстройством собственно задуманных чистых звуковых шагов. Такого рода предрассудки ныне устранены. Только случайно еще какой-нибудь ложный друг древнегреческой музыки может польститься сегодня на гармонизацию, не отвечающую требованиям стиля. Мы знаем большое разнообразие музыкальных форм и среди них — распространенную прежде всего в Азии *гетерофонию*. Для обозначения этого явления я предложил соответствующее выражение из одного места платоновских «Законов», в котором, вероятно, речь идет о том же самом типе музыки. Мы знаем, что неоценимая сила выразительности нашей гармонии несет с собой ритмические оковы, и что не только древние греки, но и некоторые первобытные народы превосходят нас в отношении ритма. Здесь нет необходимости подчеркивать, какие выигрыши получает и общее искусствование благодаря такому расширению горизонта.

Возникшая из публичного доклада брошюра «Основы музыки» берет свое начало от подачи сигналов и от явлений звукового слияния, резюмируя общие воззрения, которые до того были мною получены из сравнительных исследований, включая многочисленные и хорошо засвидетельствованные, прежде всего, фонографические случаи. Вместе с тем я попытался дать в этой брошюре обзор важнейших форм музицирования, возникших в ходе исторического развития.

Две мои музыковедческие работы носят чисто исторический характер, правда, и они находятся в тесной связи с теорией. Я имею в виду работу о понятии консонанса в Древнем мире и статью о псевдоаристотелевских про-

блемах музыки. Эти последние постоянно привлекали меня в течение ряда лет, ибо представляют собой своего рода античную психологию звука, которая крайне важна для более глубокого уяснения древней музыки и понимания музыки древними. Какой яркий свет проливает на общее античное музыкальное самосознание такое, например, положение: «Консонансное созвучие не обладает этосом»! Правда, я пришел к выводу, что псевдоаристотелевский текст как целое следует относить не к Аристотелю или к его эпохе, но главным образом к первому или второму векам после Р. Х. (самое раннее). Для этого, как я полагаю, мною были приведены столь веские доводы, какие только возможны в этом вопросе. Среди немногих филологов, непосредственно занимавшихся этим сочинением, Руэлл объявил (после моего объяснения) вопрос решенным (*tranchée*), тогда как Т. Райнах, чьи насильственные вмешательства в текст я не одобрил, атаковал мою статью в столь острой и оскорбительной форме, что я не [261] смог удержаться, чтобы не ответить. Понимание многих мест текста именно здесь, в музыковедческой его части, как в случае метеорологических и других сюжетов его проблемного комплекса, открывается только тому, кто отправляется от собственных реальных исследований, что в нашем случае значит — от акустических наблюдений, от психологии звука и музыки. Прежде всего, это имеет место при рассмотрении проблем особенностей октавы, слияния и антифона. Мое истолкование и текстовая корректура доселе совершенно темного, но легко понимаемого на основе фактов слияния, 14-го фрагмента сочинения сразу же встретило поддержку со стороны Узенера и ф. Яна, а позднее и Г. Римана. Впрочем, одно краткое сообщение в центральной Литературной газете уведомило меня о том, что лишь немногие коллеги были мне благодарны за усилия, потраченные на обе статьи. Автор газетной заметки причислял себя именно к таким коллегам, однако с сожалением процитировал: «*Graeca sunt, non leguntur*». Этот опыт отбил у меня желание продолжить историческое исследование понятия консонанса на материале средневековья и Нового времени. Впоследствии такое продолжение в известной мере дал Риман (История музыкальной теории в 9–19 веках).



Таковы примерно очертания моих научных воззрений и стремлений, осуществив которые мне посчастливилось только отчасти. Но и реализованные части моих замыслов я бы во многих моментах сегодня улучшил, вполне сознавая их недостатки. «Улучшенные и дополненные издания» пережили из моих сочинений разве что «Таблицы по истории философии», которые, видимо, многие покупатели перепутали с компендиумом. Таким образом, у меня не было возможности устранить указанные недостатки. И все же я уверен, что от меня, по крайней мере, останутся наблюдения, которые я провел с наибольшей тщательностью, так что эту работу не надо будет делать заново. Самые общие мои идеи, какими бы ценными они мне ни казались, подлежат проверке и сепарации временем. Истинное в них утвердится собственными силами. Ведь я никогда не пытался создать в узком смысле свою школу, и даже находил более приятным, во всяком случае, интересным, когда ученики

не просто подтверждали мои теоремы, но приходили к иным научным результатам. И тем большую радость и благодарность наполняет мое сердце преданность моих юных учеников, которые, разделяя мои убеждения, все же по собственным планам продолжают труд научного исследования.

## СОЧИНЕНИЯ

### Сокращения:

Abh. (Sitz.) bayr. (pr.) Ak. = Abhandlungen (Sitzungsberichte) der bayrischen (preussischen) Akademie der Wissenschaften.

Beitr. = Beiträge zur Akustik und Musikwissenschaft, her. von Stumpf

Passow = Beiträge zur Anatomie, Physiologie des Ohres., her. von Passow und K. L. Schaefer.

S. M. = Sammelbände für vergleichende Musikwissenschaft, her. von Stumpf und v. Hombostel.

V. M. = Vierteljahrschrift für Musikwissenschaft

Z. P. = Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane.

### Номера журнальных томов указаны жирным шрифтом.

Verhältnis des Platonischen Gottes zur Idee des Guten. Diss. Göttingen 1869. Abdruck aus d. Zeitschr. f. Philosophie 1869.

Über den psychologischen Ursprung der Raumvorstellung 1873. Selbstanzeige Götting. Gel. Anzeigen 1873.

Die empirische Psychologie der Gegenwart. Zeitschr. Im neuen Reich 1874.

Aus der vierten Dimension. (Über Zöllners «Prinzipien der elektrodynamischen Theorie der Materie»). Philosoph. Monatshefte 1878.

R. H. Lotze (Nekrolog). Wiener Allg. Zeitg. 10.VII.1881.

Tonpsychologie I. Bd. 1883. II. Bd. 1890. Selbstanzeige Z.P.1 1890.

Über die Vorstellung von Melodien. Zeitschr. f. Philos. 1885. bers. Revue philos. 1885.

Musikpsychologie in England. Betrachtungen über d. Herleitung d. Musik aus d. Sprache u. aus d. tierischen Entwicklungsprozesse, über Empirismus u. Nativismus in d. Musiktheorie. V.M. 2 1886.

Lieder der Bellakula-Indianer. V.M. 2. 1886. S. M. 1. 1922.

Mongolische Gesänge. V.M. 3 1887. S. M. 1 1922.

Über Vergleichen von Tondistanzen. Z. P.1 1890. Wundts Antikritik 2. 1891. Mein Schlusswort gegen Wundt 2. 1891.

Psychologie und Erkenntnistheorie. Abh. Bayr. Ak. 1891. Selbstanzeige Z. P.3 1892.

Über den Begriff der mathematischen Wahrscheinlichkeit. Sitz. bayr. Ak. 1892.

Über die Anwendung des mathematischen Wahrscheinlichkeitsbegriffes auf Teile eines Kontinuums. Sitz. bayr. Ak. 1892.

Phonographierte Indianermelodien. V.M. 8 1892. S. M. 1 1922.

Zum Begriffe der Lokalzeichen. Z. P.4 1893.

Bemerkungen über 2 akustische Apparate. Z. P.6 1894.

H. v. Helmholtz und die neuere Psychologie. Archiv f. Geschichte d. Philosophie 8 1895. bers. Psychological Review 1895.

Eintrittsrede in der Berliner Akademie. Sitz. pr. Ak. 1895.

Über Ermittlung von Obertönen. Ann. d. Phys. u. Chem. N. F. 57. 1896. Selbstanzeige Z. P.12. 1896.

Tafeln zur Geschichte der Philosophie 1896. 2. Aufl. 1900. 3. Aufl. (Mit Menzer) 1910.

Erffnungsrede (ber Leib und Seele) beim 3. Internat. Psychologenkongre 1896.  
 Kongre bericht 1897. bers. Revue Scientifique 1896.

Geschichte des Konsonanzbegriffes 1. Teil (Altertum). Abh. bayr. Ak. 1897.

Die pseudo-aristotelischen Probleme ber Musik. Abh. pr. Ak. 1896, ersch. 1897.

Neueres ber Tonverschmelzung. Z. P. 15. 1897. Beitr. 2. H. 1898.

Das Wunderkind Otto P hler. Voss. Ztg. 1897. bers. Revue scientif. 1897. propos d'un enfant prodigue. Revue de l. Hypnotisme. 1897.

Schwingungszahlbestimmungen bei sehr hohen T nen (mit M. Meyer). Ann. d. Phys. N. F. 61. 1897. Erwiderung (mit M. Meyer) ebenda 65. 1898.

Beitr ge zur Akustik und Musikwissenschaft. 1. Heft. 1898: Konsonanz und Dissonanz. (2.- 9. Heft. 1898 1924).

Zum Einflu d. Klangfarbe auf d. Analyse von Zusammenkl ngen. Beitr. 2. H. 1898.

Die Unmusikalischen und die Tonverschmelzung. Z. P. 17. 1898. Erwiderung Z. P. 18. 1898.

Ma bestimmungen ber die Reinheit konsonanter Intervalle (mit M. Meyer). Z. P. 18. 1898. Beitr. 2. H.

ber die Bestimmung hoher Schwingungszahlen durch Differenz t ne. Ann. d. Phys. N. F. 68. 1899.

ber den Begriff der Gem tsbewegung. Z. P. 21. 1899.

Beobachtungen ber subjektive T ne und ber Doppelth ren. Z. P. 21. 1899. Beitr. 3. H.

Der Entwicklungsgedanke in d. gegenw rtigen Philosophie. Festrede in d. Kaiser Wilhelms-Akademie f. rztl. Bildungswesen 1900. In 2. Aufl. Zusammen mit «Leib und Seele» 1903. 3. Aufl. 1909.

Zur Methodik der Kinderpsychologie. Zeitschr. f. p dagog. Psychologie. 2 1900.

Die Berliner Auff hrungen klassischer Musikwerke f r den Arbeiterstand. Preu. Jahrb cher. 100. 1900.

Tontabellen (mit K. L. Schaefer). Beitr. 3. H. 1901.

Tonsystem und Musik der Siamesen. Beitr. 3. H. 1901. S. M. 1 1922.

ber das Erkennen von Intervallen und Akkorden bei sehr kurzer Dauer. Z. P. 17. 1902. Beitr. 4. H. 1909.

Eigenartige Sprachentwicklung eines Kindes. Zeitschr. f. p dagog. Psychologie. 3 1902.

Grammophon und Phonograph. Ein Beitrag zur angewandten Logik. «Tag» v. 1. III. 1903. Zur Demonstration in der Aula am 6. Februar (mit W. Engelmann). «Tag» v. 31. III. 1903. Die Demonstration in der Aula der Berliner Universit t am 6. II. 1903. Zeitschr. d. Internat. Musikgesellschaft 5 1904.

Das Pferd des Herren v. Osten. «Tag» v. 3. XI. 1904.

Differenz t ne und Konsonanz. Z. P. 39. 1905. Zweiter Artikel. Z. P. 59. 1911. Beitr. 4. und 6. H.

ber zusammenges tzte Wellenformen. Mit 2 Figurentafeln von K. Lu. M. Schaefer. Z. P. 39. 1905. Beitr. 4. H.

Erscheinungen und psychische Funktionen. Abh. pr. Ak. 1906, ersch. 1907.

Zur Einteilung der Wissenschaften. Abh. pr. Ak. 1906, ersch. 1907.

ber Gef hlsempfindungen. Z. P. 40. 1907. Auszug mit Diskussion im Bericht ber d. 2. Kongre d. Gesellsch. f. experim. Psychol. 1906, ersch. 1907.

Einleitung und 4 Beilagen zu: «Das Pferd der Herren v. Osten» von O. Pfungst. Hngl. bers. 1911.

Richtungen und Gegens tze in der heutigen Psychologie. Internat. Wochenschr. f. Wiss.,

Kunst u. Technik 1907.

Die Wiedergeburt der Philosophie. Rektoratsrede, Berlin 1907. Im Buchhandel 1908. Das Berliner Phonogrammarchiv. Intern. Wochenschr. usw. 1908.

Akustische Versuche mit Pepito Anziola. Zeitschr. f. angewandte Psychologie. 2. 1908. Beitr. 4. H.

Vom ethischen Skeptizismus. Rektoratsrede 1908. Im Buchhandel 1908.

Die Anfänge der Musik. Intern. Wochenschr. usw. 1909.

Beobachtungen über Kombinationstöne. Z. P. 55. 1910. Beitr. 5. H.

Philosophische Reden und Vorträge. 1910. Darin neu: Die Lust am Trauerspiel.

Konsonanz und Konkordanz. In d. Festschrift f. R. V. Liliencron 1910. Erweitert, «nebst Bemerkungen über Wohlklang und Wohlgefälligkeit». Z. P. 58. 1911. Beitr. 6. H.

Das Psychologische Institut. In Lenz: Geschichte der Universität Berlin. 3. 1910. über die Bedeutung ethnologischer Untersuchungen für die Psychologie und Ästhetik der Tonkunst (mit v. Hombostel). Bericht über d. 4. Kongreß d. Gesellsch. f. experim. Psychologie 1911. Beitr. 6. H.

Die Anfänge der Musik. Mit 6 Fig., 60 Melodiebeisp. u. 11 Abbild. 1911. über neuere Untersuchungen zur Tonlehre. Bericht über d. 6. Kongreß d. Gesellsch. f. exp. Psychol. 1914 (mit Diskussion). Beitr. 8. H.

Ziele und Wege der neueren Psychologie. In: Das Kind und die Schule, 1914.

Anhang (Bemerkungen u. Selbstbeobachtungen) zu St. Baley, Versuche über die Lokalisation beim dichotischen Hören. Z. P. 70. 1914. Beitr. 8. H.

Apologie der Gefühlsempfindungen. Z. P. 75. 1916.

Verlust der Gefühlsempfindungen im Tongebiete (musikalische Anhedonie). Z. B. 75. 1916. Beitr. 9. H.

Binaurale Tonmischung, Mehrheitsschwelle und Mitteltonbildung. Z. P. 75. 1916. Beitr. 9. H.

Zum Gedächtnis Lotzes. Kantstudien 22. 1917.

Die Attribute der Gesichtsempfindungen. Abh. pr. Ak. 1917, ersch. 1918.

Trumpete und Flöte. In d. Festschrift f. H. Kretzschmar 1918.

Empfindung und Vorstellung. Abh. pr. Ak. 1918.

Die Struktur der Vokale. Sitz. pr. Ak. 1918. über den Entwicklungsgang der neueren Psychologie u. ihre militärtechnische Verwendung. Deutsche militärztl. Zeitschr. 1918.

Erinnerungen an Franz Brentano. In O. Kraus, Fr. Brentano, 1919.

Zur Analyse geflüsterter Vokale. Passow 12. 1919.

Spinozastudien I. II. Abh. pr. Ak. 1919.

Gedächtnisrede auf Benno Erdmann. Sitz. pr. Ak. 1921. über die Tonlage der Konsonanten und die für das Sprachverständnis entscheidende Gegend des Tonreiches. Sitz. pr. Ak. 1921.

Einfluß der Röhrenweite auf die Auslösung hoher Töne durch Interferenzröhren (mit v. Allesch) Passow 17. 1921.

Zur Analyse der Konsonanten. Ebenda.

Veränderungen des Sprachverständnisses bei abwärts fortschreitender Vernichtung der Gehörsempfindungen. Ebenda.

Franz Brentano. In «Lebensläufe aus Franken». 2. 1922.

Vorwort zur Leibniz-Ausgabe der Berliner Akademie. 1. 1923.

Singen und Sprechen. Z. P. 94. 1923. Beitr. 9. H.

Phonetik und Ohrenheilkunde. Passow 1924 (im Druck).

Rezensionen: Götting. gel. Anzeigen 1871/72; Zeitschr. f. Philos. 68. 1876; Magazin f. d. Lit. d. Auslandes 1876; Deutsche Lit. Ztg. 1881/87, 1892, 1898, 1900. V.M. 1886/93. Z.P. 1890/95.

Auszüge nichtveröffentlichter akademischer Vorträge in Sitz. pr. Ak.: Tiefenunterschiede der Gesichtsempfindungen. 1899. Willensbegriff I-III. 1899/1904. Abstraktion und Generalisation. 1903. Abgrenzung d. Willenshandlungen. 1904. Z. Theorie des induktiven Schlusses. 1908. b. d. allgemeine Kausalgesetz. 1909.

Strukturverschiedenheiten d. Wahrnehmungsinhalte. 1910. Bedeutung d. Ähnlichkeitsverhältnisses bei d. mechanischen Reproduktion d. Vorstellungen. 1911.

Verniedlichkeit zentral bedingter Gefühlsempfindungen. 1912.

*Перевод с немецкого Сергея Поцелуева*

Перевод выполнен при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда в рамках программы «Бrentано и его школа: развитие проблем сознания и интенциональности в феноменологии и аналитической философии XX в.» (проект № 01-03-00280а).